

**Николай
ПОЛОТНЯНКО**

г. Ульяновск



ЖЕРТВА СЛАДОСТИ НЕМЕЦКОЙ

исторический роман (журнальный вариант)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

- 1 -

В один из сентябрьских дней 1665 года возле ворот, отделявших гавань от жилых и торговых кварталов вольного города Любека, появился неизвестный человек, едва прикрытый рваньем, в которое превратилась его одежда. Он шёл, с трудом переставляя распухшие ноги, обутые в деревянные башмаки, и опирался на суковатую палку, из-под полей рваной шляпы выглядывали грязные лохмы, взгляд был опущен вниз, чтобы не оступить на скользких булыжниках, которыми была вымощена улица, и все удивлялись, как это бродяге удалось пройти через весь город до самой гавани и не угодить в лапы сторожей, охранявших покой бюргеров от нашествия гулящих людишек, коих после Тридцатилетней войны ещё немало шаталось по дорогам измученной неслыханными насилиями Германии.

Сторож у ворот гавани уже издали заметил опасное для добропорядочного общества существо и, выйдя из своей будки, встал посреди мостовой с намерением преградить ему путь.

Оружия он не имел, но был широкоплеч и обладал басовитым начальственным голосом.

– Стой! – возгласил сторож, заступив непрощеному гостю путь. – Вход таким, как ты, в гавань воспрещен. Убирайся отсюда поживу-поздорову!

Бродяга остановился, окинул сторожа пустым взглядом смертельно усталого человека, запустил руку в свои лохмотья и вынул свёрнутую в свиток грамоту. Сторож отмахнулся от неё и вновь потребовал, чтобы бродяга убирался прочь. Возле них стали останавливаться люди, для которых стычка у ворот стала бесплатным развлечением. Сторож увидел в этом возможность отличиться перед толпой матросов и грузчиков и стал гнать бродягу всё настойчивее.

– Задай ему, Гельмут, перцу! – покрикивали из толпы.

– Он болен, и его надо отправить в госпиталь Святого Духа, – говорили те, кто не был ещё лишен сердца.

Заручившись одобрением толпы, сторож взял в руку дубинку, чтобы прогнать бродягу, но раздался голос человека, к которому в Любеке прислу-

Окончание. Начало в № 7-8, 9-10, 11-12, 2023 г.

шивались все, это был голос потомственного купца Людвиг Винтера, имевшего больше двух десятков торговых кораблей и чей капитал, как поговаривали, превышал миллион риксдалеров.

– Ты, Гельмут, забыл свои обязанности! – строго сказал корабельщик. – У этого человека в руке грамота. Почему ты её не прочел? Может, там и написано, кем он является на самом деле.

В толпе сразу отыскивались желающие прочитать грамоту вслух, но сторож к ней никого не допустил, взял её у бродяги, развернул и, помолчав, объявил:

– Здесь на двух языках писано: по-немецки и, кажется, по-польски, есть орлёная печать.

– Поддай бумагу! – повелительно произнёс Винтер, и грамота, миновав несколько рук, достигла корабельщика. Он прочитал её, нахмурился и спросил бродягу:

– Здесь прописаны два имени: Григорий Котошихин и Яган Селицкий, какое из них настоящее?

– Григорий Котошихин, – ответил бродяга. – Яганом Селицким я назвал себя в Польше, куда бежал из Московии.

– Стало быть, ты русский? – перекрывая шум толпы, сказал Винтер.

– Был русским, – тряхнул головой Гришка. – А сейчас я бурьян, перекаати-поле.

– Кем ты был в Москве?

– Подьячим средней руки в Посольском приказе.

– Даже так! – удивлённо воскликнул корабельщик. – Тогда ты должен знать купцов Немецкой слободы.

– Я вёл шведский стол в приказе, к русским немцам отношения не имел, однако знавал Якова Блуме, Генриха Крузе...

– Ты знаешь Генриха? – переспросил Винтер.

– Как не знать, – ответил Гришка. – Пил-ел у него за столом не раз и ночевал в его доме. Племянницу его видел, Сельму, бойкая девица.

– Это дочь сестры моей жены, – сказал Винтер. – Кажется, она обрела в Москве своё счастье?

– Видел я её счастье – полковник Коль, – скрикнул Гришка, вспомнив, как немец загнал его в Язу.

– Об этом мы еще поговорим, – сказал Винтер, задумчиво поглядев на Котошихина. – Однако сначала я должен тебе помочь.

И корабельщик, удивив людей, объявил, что забирает бродягу с собой. Сторож укоризненно покачал головой, но перечить богатому купчине не стал, и тот, поманив за собой Котошихина, прошёл в гавань, на прибрежную полосу земли, застроенную складскими амбарами и причала-

ми, возле которых стояли корабли разных стран. С одних кораблей товары сгружали, на другие нагружали.

Утром слуга растолкал Котошихина, дал ему сполоснуть лицо и проводил в отгороженное гладкими досками помещение в углу амбара, которое оказалось по-господски устроенной комнатой с камином, креслами вокруг стола с мраморной крышкой, где посередине на золотой подставке покоился игрушечный, сделанный из янтаря корабль, с парусами и капитаном на мостике.

Корабельщик покуривал трубку, перед ним стоял штоф, и в серебряной чарке мерцало рейнское вино. Он доброжелательно встретил Котошихина, указал на пустую чарку и предложил её наполнить, что Гришка сделал сразу, не дожидаясь напоминания. От табака он отказался и предпочел ему медовую грушу.

– Мой человек, а это в портовом городе сделать легко, навёл о тебе справки, – сказал Винтер. – Нашлись люди, которые о тебе слышали, и они подтверждают, что ты именно тот человек, за которого себя выдаешь.

– Вот и вы, господин Винтер, убедились, что и среди московитов встречаются те, кто не врёт, – нашёл в себе смелость ответить лёгким укором Котошихин. – Я не самозванец, да и вряд ли такой найдётся охотник заменить меня на дыбе и плахе, коей мне угрожает русский закон.

– Оставим то, в чём ты виноват перед царём, – деловито сказал Винтер. – Но для того, чтобы я мог чем-то тебе помочь, мне нужно знать, что ты намерен делать, если у тебя вдруг появятся некоторые средства.

– Мне нужно попасть в Нарву, – живо заговорил Котошихин. – Вы скажете, почему не в Стокгольм, где, я знаю, меня приветят и дадут возможность жить? Не знаю до конца, зачем я рвусь в этот город, но меня туда что-то зовёт.

– Нарва – русский город, хотя сейчас он под шведами, – сказал Винтер. – И, скорее всего, ты хочешь вернуться в Москву, но пока боишься признаться в этом самому себе.

– Я столько всего дурного извещал за последний год, что Москва мне уже не кажется страшной.

– На Москву тебе ехать только за своей смертью, – усмехнулся бывалый корабельщик. – Что ж, до Нарвы я тебе помогу добраться, дам немного денег, но, может, в городе тебя кто-то знает?

– Надеюсь на купца Овчинникова, – сказал Гришка. – Когда-то мы с ним делили хлеб-соль. Я бывал у него в Нарве, вместе в Стокгольм ездили.

– Овчинников – мой торговый агент, – оживился Винтер. – А в Нарву из Любека почти каждую неделю бывает корабль. И сейчас стоит под погрузкой шведская шхуна. Её владелец – мой приятель. Если до завтрашнего полдня не отдумаешь ехать, то иди к капитану, он о тебе будет знать уже сегодня.

– Благодарю за милость, господин Винтер, – отучившийся падать ниц, Котошихин церемонно, по-польски, поклонился корабельщику. – Вы добрый человек, что в наши дни большая редкость.

Сдержанность, с которой Котошихин поблагодарил корабельщика, произвела на того должное впечатление, и он, достав замшевый кошель, некупно сыпанул на стол серебро. Гришка за свои польские и немецкие скитания отвык от денег и смотрел на них с восхищением и опаской.

– Ужели это всё моё? – сказал он, простерев над серебром ладони.

– За проезд с тебя плату не возьмут, – сказал Винтер. – Но я напишу Овчинникову письмо с предложением и перечнем товаров, какие он сможет у меня купить. Это и будет твоей ответной для меня услугой.

После ухода своего случайного спасителя и благодетеля Котошихин спрятал деньги и задумался над тем, правильный ли он делает шаг, отправляясь в Нарву, или нужно напрямик поспешить к шведскому королю и напомнить ему о тех услугах, которые он оказал Эберсу на переговорах с окольным Волинским. Но сделать этот шаг сдерживало то несладкое воспоминание о грубости и презрительном чванстве, которые он претерпел при дворе короля Яна-Казимира, когда, надеясь на распротёртые объятя, обратился к нему с предложением услуг и в ответ услышал отповедь, что честный лях с предателем не якшается и королю нет дела до сплетен о царском дворе, тем более от человека подлого звания.

Котошихин кинулся от короля в Литву и упал на колени перед канцлером Христофором Пацем. Вельможа переговорил с беглым подьячим и был весьма удивлён его познаниями в государственном устройстве России и способностью правильно оценивать текущие политические события.

Литовский канцлер взял его на службу советником, ему был положен сторублёвый годовой оклад, литовцы оказались не так щепетильны и на предательство Котошихина не обращали внимания, но среди важных людей Литовской короны было много русских и православных. Будучи связанными с королем Польши присягой на верность, они воевали против русского царя в силу дворянского долга, а на людей, подобных Кото-

шихину, взглядывали как на выродков, которые неизбежно случаются во всяком народе.

Скоро ему не стало проходу в русском Вильно, куда бы он ни пошёл, где бы ни появился, следом за ним не утихал змеиный шелест многожды повторённого мерзкого имени: «Иуда! Иуда!..»

Гришка стал жить взаперти, но и за забором его не оставили в покое, и однажды на стене дома, где он скрывался, кто-то дёгтем написал богомерзкое имя.

Этот случай подтолкнул Котошихина к бегству, он уехал в Силезию, но там его услуги были встречены магнатом Любомирским, искавшим союзника в московском царе, отказом. И скоро Гришка окончательно сорвался, запил горькую, спознался с картёжными игроками, они-то и раздели Котошихина донага игрой в поддельные карты, и он обратился в бродягу, нищенствующего Христа ради, последним приютом которого должна была стать общая для безымянных мертвецов могильная яма.

Однажды он проснулся после сильнейшего зноя и глянул на небо, где не было ни облачка, а лишь одна бездонная голубизна. И, созерцая бесконечную чистоту, Гришка почувствовал, как что-то в нём содрогнулось, он увидел себя совсем мальцом на крыше отцовской избы, девственно чистое небо и в нём играющую стаю голубей. Воспоминание перехватило ему горло, он сглотнул слёзный комок, горько пожалел себя и оглянулся по сторонам в поисках выхода из западни, в которую загнал себя сам.

Наступали осенние дни, со стороны Швеции в южную сторону потянулись перелётные птицы, но Гришке чудилось, что они летят из России, и он пошёл им навстречу к морю, и шёл до тех пор, пока не забрёл в вольный город Любек, и здесь судьба свела его с добрым немцем Винтером, который проникся сочувствием к его беде, не отвернулся от падшего человека и по завету своего лютеранского Бога дал ему возможность выбора дальнейшего жизненного пути.

Задумавшись над всем, что с ним произошло в последний день, он вдруг понял, что его мысли о будущем претерпели разительную перемену: ещё утром он мечтал добраться до Нарвы и оттуда послать великому государю челобитную о прощении, а к вечеру, помывшись, став сытым и выспавшимся, заимев полную пригоршню серебра, Гришка вдруг засомневался, стоит ли ему спешить в Москву и не ждёт ли его там плаха и разбросанные затем по городу отрубленные от туловища руки и ноги? Однако долго думать об этом Котошихин не стал, решив, что сначала ему

нужно добраться до Нарвы и там уже задумать-ся, как жить дальше.

Шкипер поместил Котошихина в трюм, где были свалены рваные парусные снасти, на них Гришка пробедовал почти две недели, промёрз и промок до того, что его перестали слушаться распухшие от холода ноги, и в неходячем состоянии нако-нец-то оказался на нарвском причале, куда его вынесли со шхуны матросы и, накрыв двумя рого-жами от дождя и ветра, оставили дожидаться, ког-да кто-нибудь его подберёт и обогреет.

Однако везение, благосклонно взглянувшее на Гришку в облике корабельщика Винтера в воль-ном городе Любеке, не покинуло его и в Нарве, на сей раз о нём озаботились грузчики, взявши-еся разгружать шхуну. Котошихин мешал им ска-тывать с палубы на причал бочки, и они на рого-же отнесли его в будку, где хранили свою одеж-ду. Немного обогревшись, Котошихин почув-ствовал, что язык у него во рту начал шевелить-ся, а рука может дотянуться до кармана, где он хранил для случая серебряную мелочь. Став са-модостаточным, Гришка приоткрыл дверь сто-рожки и, приглядевшись, подозвал к себе мужи-ка, который, сидя в бочке, выскабливал её от жирной рыбной грязи.

– Посочувствуй, друже, хворому, – сказал Гриш-ка и позвенел мелочью в кулаке.

– Что надо? – оживился мужик. – Куда сбегать?

– Купца Овчинникова знаешь?

– Кто же не знает Кузьму Афанасьевича? – ве-село сказал мужик, сладко поглядывая в сторону денег.

– Будь милостивцем, сбегай к нему и объяви, что явился Григорий Котошихин, но сам дойти до его двора не в силах, и пусть кто-нибудь ему подсобит.

– Я мигом! – заторопился мужик. – Но ты день-ги не прячь, пусть они у тебя как были в кулаке, так и побудут.

На подворье шведского купца Кузьмы Овчин-никова, удивляя соседей, с утра задымила баня, в ней хозяин взялся лечить своего гостя от про-студной хвори, коей он пропитался во время сво-их скитаний по суше и по морю. Раздетый дона-га Котошихин возлежал на полке, а хозяин парил и растирал его вениками – берёзовым, дубовым и полынным. Время от времени он брался за ковш, окроплял водой и квасом раскалённые камни в очаге и поил Гришку питьём собствен-ной выдумки, которое не раз спасало от всяких хворей и его самого.

– Отощал ты, Григорий, остались на тебе одни

кости да кожа, – говорил Овчинников, постукивая гостя дубовым веником. – Но ты не горюй, не успеешь помереть, как станешь мясистым и белотелым, как наш нарвский пастор.

– А ты, Кузьма, откуда знаешь, как лютеранский поп голяком выглядит?

– Велика важность! – хохотнул Овчинников. – На твоём месте недавно сам губернатор Якоб Таубе полеживал и от моего веника и постанывал, и покряхтывал.

– Что, и он здоровья искал в твоей бане? – под-нял голову Котошихин.

– А кому оно не нужно? – удивился Кузьма Афанасьевич. – Даже кошка травой лечится, а че-ловеку сам Бог повелел печься о своём здоровье. Вот пропаришься, выпьешь семь трав, настоян-ных на двойном вине, уснёшь под овчиной, чтобы потом вся хворь из тебя вышла, и оздоровеешь.

- 2 -

– **В**от они где, корешки теперешней измены, – задумчиво сказал великий государь. – Эта западная сладость и прелесть как хворь для иных русских людишек. Войке Ордин-Нащёкину не пожилось близ царя, презрел веру родителей и сбежал в Польшу. Уж там-то помалкивал бы, так нет, вякал на всю Европу, что обрёл свое счастье в латинстве. А немцы своему латинству и папезж-кой вере настоящую цену знают давно, вот была им умора глядеть, как русский дурак хвалит то, от-чего уже пол-Европы отвернулись в лютеранство. Как теперь Войка поживает в Кирилло-Белозерс-ком монастыре?

– Затворился в келье и льёт слёзы раскаянья, – сказал дьяк Башмаков, – временами читает свя-тых отцов.

– Как мыслишь, Дементий, может, вернуть его отцу? Ты не спрашивал окольного, какие у него виды на судьбу сына?

– Афанасий Лаврентьевич места возле себя для Войки не видит. Он полагает, что присутствие сы-на станет большой помешкой делу, коим он сей-час занят. Люди по военному времени обозлены и в присутствии близ польских съездов перебежчи-ка и изменника увидят новое предательство.

– Добро, пусть очищается от латинской прелести в святой обители, – сказал великий государь. – У нас с тобой, Дементий, явился другой клятвopреступник, Гришка Котошихин. Он не увёз часом с собой по-сольскую печать дьяка Алмаза? При нашем ротозей-стве и такое может случиться.

– В приказе всё цело, – доложил Башмаков. –

Гришке близ короля Яна-Казимира не приглянулось, потёрся вокруг него и сбежал в Нарву. Подьячий Никифоров заметил его любовь к шведам, но взять подьячего за жабры не успел, того услали в полки Черкасского, а оттуда он сквозанул к полякам.

– Шведы ему дело найдут, – сказал великий государь. – А мне надо каяться: я пожалел Котошихина, когда он своровал в написании царского титула, который принадлежит не столько мне лично, как всему русскому царству. Гришку по закону надо было казнить смертью, а его пощекотали батогами и оставили в подьячих. Тут уж Алмаз виноват, услали бы вора на Енисей и не пригревал его в приказе.

– Может, великий государь поволит к вору послать надёжного человека, – осторожно кашлянул дяк Башмаков. – В Нарве его легко можно известить, не дожидаясь, когда он убежит в Стокгольм.

– Не вижу в сем никакого резона, – после некоторого молчания сказал Алексей Михайлович. – Все наши тайны он уже и полякам, и шведам доложил. Отпиши в Новгород воеводе Василию, чтобы он потребовал выдачи русского перебежчика согласно Кардисскому договору. Я желаю, чтобы Котошихин был вытребован у шведов, привезён в Москву и ему в назидание всем охотникам до немецкой сладости отрубили на Болоте голову.

– Давно пора нашим московским брадобритцам и табакоядцам, и другим сладникам до всего немецкого сделать внушение, – одобрительно сказал Башмаков. – Я, великий государь, составил список таких людей на Москве.

– И сколько их у тебя, и кто такие? – приподнял брови Алексей Михайлович.

– Около сорока падших душ, содомитов и сладников, – сказал Башмаков и подал царю список.

– Беда-то какая, Дементий, – горько вымолвил Алексей Михайлович, когда прошёлся взглядом по именам. – Есть из лучших родов...Беда-то какая родителей!..

В этот же день, ещё до полудня, Москву покинул гонец, который помчался в Новгород с отпиской от великого государя воеводе Ромодановскому, чтобы тот занялся делом Котошихина.

Сам Гришка в этот день был с раннего утра занят подготовкой к встрече с нарвским губернатором Таубе. В руках у него была иголка с ниткой, на голых коленях лежали штаны, у которых он зашивал расползшуюся по шву штанину. Гришка сидел на лавке возле окна, иногда в него взглядывая, чтобы знать, когда перестанет осенний дождик мочить нарвскую землю и вы-

лянет солнце. Шитьё по старым дыркам было нетрудным, и Гришка, ни разу не уколов себя иглой, одолел шов, завязал надёжный узелок и откусил нитку. В этот миг ему на руку упал солнечный луч, и он обрадовался, что погода переменялась в лучшую сторону, надел на костлявые ноги штаны, зачембарил в них рубаху, обул смазанные рыбьим жиром сапоги и, облачившись в подаренный Овчинниковым кафтан, покинул своё жилище. Во дворе, сидя на скамейке, его поджидал Кузьма Афанасьевич.

– С Богом, Григорий! – перекрестил он Котошихина. – Ты с Таубе встречался, веди себя смиренно, но достойно. От него зависит почти всё.

– Ужели шведы могут отказать мне в приюте? – забеспокоился Гришка. – Или у меня перед королевством нет даже малых заслуг?

– Надеемся на лучшее, – сказал Овчинников. – Это Москва разбрасывается людьми и не дорожит ими, а шведы малолюдны, у них всякий человек учтен, а ты совсем на особом счету как знаток русских дел, который даром свалился им в руки.

Якобу Таубе роль Котошихина в русско-шведских делах была известна по его догадкам, что русский сочувствует шведскому правительству и пользуется его покровительством, поэтому он отнёсся к Гришке вполне благожелательно.

– По вашему виду я заключаю, что вы, господин Котошихин, изведали немало лишений, – сказал губернатор, встречая просителя в том самом зале с камином, где около пяти лет тому Гришка обедал как гонец царского величества. – Как вы попали в Любек? И почему выбрали такой кружной путь, чтобы достичь Нарвы?

Гришка ждал этого вопроса, в котором заключался подвох, могущий уличить Котошихина в связи с ляхами, что вряд ли пришлось шведам по вкусу: они предпочли бы знать, что Котошихин только их доброжелатель и ничей другой.

– Я был послан в полки князя Черкасского, – сказал Котошихин чистую правду и тут же солгал. – Любопытство и желание отличиться вовлекли меня в схватку с ляхами, где мне очень не повезло: меня оглушили и увезли в полон, из которого я смог вырваться всего месяц назад.

Якоб Таубе с большим сочувствием выслушал Котошихина и даже не подал вида, что ему ведомо о нём другое, однако умный губернатор решил не обращать на ложь внимания: польза, какую мог принести русский его стране, явно перевешивала сказанную им неправду.

– Купец Овчинников известил меня, что вы, господин Котошихин, намерены предложить свои знания русских дел моему правительству?

– Это желание, господин губернатор, я имею с тех пор, как я побывал в Стокгольме, – проникновенно глядя на Таубе, сказал Котошихин. – Не скрою, что, занимаясь в Посольском приказе шведским столом уже около десяти лет, чем больше постигал шведские порядки, тем крепче прикипал к ним всем сердцем и желал бы видеть такие же законы на Москве, но сие, увы, невозможно. Поэтому я решился покинуть Россию и жить там, где мне станет вольно дышать.

– Надеюсь, господин Котошихин, вы взвесили все последствия своего шага, – сказал Таубе и сделал знак дворецкому, чтобы он наполнил вином стоявшие на столе чарки. – Вы должны полностью представлять, что ваше положение в Швеции будет зависеть только от того, какую пользу вы ей принесёте своими знаниями.

– Господин губернатор, – сказал Котошихин. – Я уже сейчас готов доложить в риксканцелярию короля о переговорах, которые ведут поляки и русские, чтобы заключить перемирие. Если этому не помешать, то Швеция утратит возможность пользоваться выгодами, которые ей даёт русско-польская война. И я знаю, что нужно сделать, чтобы сорвать эти переговоры.

– Любопытно! – воскликнул Таубе, с интересом разглядывая отощавшего в бегах Гришку. – И в чём задуманная вами хитрость?

– Об этом я объявлю сразу, как обрету в Швеции устойчивое положение, – сказал Котошихин и взялся рукой за чарку. – Ясно, что русских и ляхов надо стравить, и вся хитрость в том, как их на это подтолкнуть.

– Что ж, вы поступаете умно, – тонко усмехнулся Таубе. – Я надеюсь, в Стокгольме не помедлят с определением вас на королевскую службу. Для этого мне нужно получить от вас прошение и перечень основных событий вашей жизни, начиная с рождения до сего дня. Я не замедлю отправить эти бумаги в Стокгольм и почти не сомневаюсь, что решение будет благоприятным.

– Господин Таубе! – обрадовался Гришка. – Я счастлив, что обрёл в вас своего благодетеля и милостивца!

Гришка хотел пасть перед губернатором на колени, но сухопарый и резвый швед его опередил и сумел удержать на ногах.

– Отвыкайте, господин Котошихин, от рабских привычек. В Швеции не принято падать ниц даже перед королём, – сказал Таубе. – Итак, жду ваши бумаги для Стокгольма, а сейчас ступайте с Карлом и не отказывайтесь от того, что он вам предложит.

Дворецкий вежливо проводил Котошихина в

комнату, где стояли бельевые и одежные шкафы, и вручил ему две простыни, одеяло, четыре полотенца, две пары нижнего белья, две рубахи, домашний халат, а от следующей вещи сердце Гришки сначала от радости замерло, а затем стало трепыхаться – это был истинно немецкий кафтан, узкий в спине и широкий понизу в полах, перехваченный в талии вшитой в ткань упругой верёвкой, со стоячим кружевным воротником и рукавами, тесными до локтей и широкими к плечам. О такой одежке Гришка давно грезил, но вместе с ней он получил то, что было верхом самых смелых его мечтаний – бархатные, до колен, штаны, атласные чулки и кожаные башмаки с медными пряжками.

– Господин губернатор полагает, что тебе надо отвыкать от московской одежды, – сказал Карл и протянул Котошихину небольшой бумажный кулёк. – Здесь десять риксдалеров на самые неотложные нужды.

Овчинников дождался Гришку и встретил его вопросом:

– Ну как?

– Видишь сам! – весело хмыкнул Гришка. – Шведы не прочь меня заполучить, и губернатор пожаловал меня одеждой.

– Всё, как я тебе говорил, – довольно улыбнулся Овчинников. – Кажется, от тебя даже винцом попахивает?

– Почему бы и нет? Губернатор счёл нужным угостить меня рейнским.

– Это, брат, добрый знак, – уверенно сказал Овчинников. – Шведы так бережливы, что зазря ничего не дадут. Ты им точно нужен, и в беде они тебя не оставят.

- 3 -

Декабрь в Стокгольме бывает почти всегда мрачноватым из-за наползающих из Атлантики на Скандинавию тяжёлых туч, наполненных зябкой сыростью, готовой в любой миг начать сочиться бесконечным дождём, в который временами густо вплетаются снежные нити. На крышах домов и кронах деревьев вырастают белые шапки, столица теряет яркость присущих ей красок, обычно многолюдный, особенно в портовой части, город замирает под туманно-облачным пологом зимнего ненастья.

В высоком зале дворца, велеречиво названного «Макалес», то есть Бесподобный, было почти холодно, хотя жарко пылал нагруженный дубовы-

ми поленьями камин, возле которого стоял канцлер Магнус Гаврила де ла Гарди и слушал доклад шведского посла в Москве Адольфа Эберса о том, какие действия тот намерен предпринять, чтобы стребовать с московитов причитающиеся Швеции деньги за понесенные ею во время военных действий убытки.

– Московиты на всех переговорах, кои мы с ними вели, всегда проявляли увертливость, – сказал канцлер и простёр над каминным жаром озябшие руки. – Их ни в коем случае нельзя допускать к берегам Балтийского моря, а держать надо плотно закрытыми в московской берлоге. До последнего времени нам это удавалось, однако царь не оставляет своих мечтаний занять свою морскую гавань. Посему деньги, Адольф, требуй неотступно и в то же время ищи путей так досадить царю, чтобы он и не помышлял продвигаться в сторону Балтики.

– Наш самый главный враг на Москве – это Ордин-Нащёкин, который изо всех сил хлопочет уже не о мире, а о вечном союзе с Польшей, указывая королю Яну-Казимиру на выгоды этого соглашения. Помимо того что этот союз будет направлен против турок и крымских татар, он сделает бессмысленным и Оливский договор, по которому у нас с поляками перемирие.

– А у тебя, Адольф, нет подходов к Ордин-Нащёкину? – спросил канцлер. – Что он так старается для польских интересов?

– На мой взгляд, русский дипломат большой мечтатель: он вздумал устроить союз двух славянских народов, забыв, что они придерживаются разных вер. Ордин-Нащёкин в своей затее обречён на неуспех, однако поляки и московиты в войне так обессилели, что мир между ними неизбежен.

– Султан и хан большие противники сближения московитов и поляков, – сказал канцлер. – Это нам на руку, для нас желательно, чтобы они продолжали между собой воевать, тогда наше возвышение не будет стоить нам ни гроша. Я сторонник наносить удары в самые чувствительные места, и не только оружием, но и словом. Вчера Юнгеманс предоставил мне оттиск нового издания памфлетов, в них есть и то свежее, что ты привёз из Москвы.

– Царь чувствителен на словесные обиды, как малое дитя, – улыбнулся Эберс. – Да и все московиты сразу теряются, если их огорошить каким-нибудь злобным враньём. Вот Юнгеманс написал, что в московских церквах кончились запасы ладана и все службы приостановлены. Эта новость лишит великого государя здравого рассуд-

ка на целую неделю. Он бросит все дела, забудет о войне и мире и станет негодовать на шведскую наглость, затем начнёт узнавать, есть ли ладан в церквах, потому что московиты крепко верят в то, что дыма без огня не бывает.

Обычно неподвижное лицо Магнуса де ла Гарди слегка сморщилось, и сия гримаса означала, что канцлер довольно улыбнулся.

– Ты, Адольф, прав: наш польский доброжелатель сообщает, что в окружении короля Яна-Казимира обрадовались памфлетному известию якобы о том, что все войска царя направлены против башкир, и поляки сразу стали выдвигать несуразные требования к московитам о выплате им десяти миллионов злотых.

– А вот этого я постараюсь не допустить, – сказал Эберс. – Тогда царю неоткуда будет взять полмиллиона рублей, которые он так неосторожно пообещал нам дать перед заключением Кардисского мира. К сожалению, мой платный доброжелатель, служивший подьячим в Посольском приказе, был отправлен из Москвы в войска князя Черкасского, и я потерял его из виду.

Канцлер де ла Гарди заинтересованно глянул на Эберса и вынул из ящика стола лист бумаги.

– Твоего корреспондента звали Ко-то-ши-хин? – по слогам произнёс канцлер имя беглого подьячего.

– Совершенно верно, ваше высокопревосходительство.

– Он не потерялся, – сказал канцлер. – Вот его прошение о предоставлении ему шведской службы, поддержанное губернатором Таубе. Если это тот человек, что доброжелательствовал нам в Москве, то потребуется твоё на него заключение.

– Я рад, что Котошихин жив и здоров, – сказал Эберс. – Днями я, по дороге в Москву, буду в Нарве и оттуда направлю вам своё о нём заключение. По моему прежнему с ним общению могу сказать, что этот московит умён, превосходно знает, как работают все приказы московского царства, чем нам будет надолго полезен.

– Не учинит ли он нам здесь в Стокгольме какого-нибудь вреда? – сказал канцлер. – Московиты хотя и чтут единого Бога, но повадками ещё дики и европейского политесу не разумеют.

– Насчёт политесу и галантности, – усмехнулся Эберс, – у Котошихина всё почти по-нашему. Московит получил весьма горячие уроки от самой доброжелательной дамы московской Немецкой слободы. Если он и здесь приударит за смазливой кухаркой, то, наверно, это интересам короны не повредит.

Канцлер де ла Гарди внимательно поглядел на

посла, пожевал сухими губами и положил прошение Котошихина на стопку с делами, которые были им уже решены.

– Я доволен, Адольф, твоим заключением по этому москвиту. Объяви ему, что король Швеции жалуется его своей службой в русском отделении Коллегии иностранных дел.

- 4 -

Начальник русского отделения Коллегии иностранных дел Хольм, когда понял, кто перед ним стоит, весьма оживился и, встав с кресла, шагнул к гостю.

– О да! Как же, наслышан о вас, господин Котошихин! Господин советник Эберс дал вам весьма восторженную характеристику. Нам такие люди нужны. Московия – очень закрытая страна, но, я надеюсь, с вашей помощью мы сумеем заглянуть в неё для пользы королевского величества.

– Постараюсь вам угодить, – сконфуженно сказал Котошихин. – Но мне надо устроиться, осмотреться, получить деньги...

– Обо всём поговорим завтра, – спохватился Хольм. – Сейчас вас проводят в гостевой дом, но завтра мы встретимся и всё обсудим.

Во второй свой приезд в Стокгольм Котошихин прибыл не царским гонцом, как в первый, а перебежчиком. И его не чествовали и поместили не в парадных комнатах гостевого дома, а в пристрое, где находились кухня и чуланы. От близости к повару и ключнику Гришка не прогадал: повар его накормил от пуза жареным палтусом, а ключник пожаловал нового шведа самой мягкой, какая только нашлась, постелью, на которой тот разлёгся и без всяких снов проспал до позднего утра.

Увидев, что через широкое окно в комнату льётся свет, Котошихин соскочил с постели и засуетился, натягивая на себя одежду. Он корил себя за то, что в первый же день проспал на службу, но ключник его успокоил, сказав, что в Швеции никто с темна на работу не ходит и Гришка ещё успеет доесть половину оставшегося от вчерашнего ужина палтуса.

На этот раз советник Хольм встретил Котошихина спокойно и деловито. Он велел находившемуся подле него служителю позвать некоего Анастасиуса и, когда тот явился, представил его Котошихину:

– Это наш переводчик с русского Даниил Анастасиус. Ему поручено перевести Соборное Уложение. Мне Эберс говорил, что вы, господин Котошихин, знаете русские законы чуть ли не наизусть?

– Господин Эберс преувеличил мои знания, – сказал Гришка. – Но Соборное Уложение мне знакомо.

– Вот и советуйте Анастасиусу, как следует понимать трудные речевые обороты. Но, главное, привыкайте к своей новой жизни.

– Моя служба шведскому престолу, – сказал Котошихин, – могла быть годна и тем, если бы я учил кого-нибудь русскому языку.

– Надеюсь, мы в дальнейшем воспользуемся вашим предложением, – советник повернулся к Анастасиусу. – Вы обсудили с супругой моё предложение взять русского к себе в дом постояльцем?

– У нас есть комната, которую я мог бы предложить господину Котошихину, – сказал переводчик. – Но как он воспримет наш шведский стол после привычных ему московских разносолов?

– Я не привередлив, – улыбнулся Котошихин. – Шведская еда мне нравится. Но хватит ли денег, чтобы жить в людях?

– Вам положены квартирные, – успокоил его Хольм. – Их, конечно, не хватит, чтобы платить и за стол, добавьте из жалованья, которое, кстати, вам следует получить. Покажите, Даниил, Котошихину кассу и возвращайтесь.

Жалованье выдавали в соседской комнате, Анастасиус оставил там Гришку, а сам поспешил к начальнику.

– Как вам, Даниил, показалось наше новое приобретение? – сказал Хольм.

– Ещё не знаю, – пожал плечами Анастасиус. – Если он знает Уложение на память, то это великий человек. Вы ведь видели этот фолиант, его прочитать, так года не хватит, а запомнить, так и жизни мало.

– Вот и используйте москвиту, не давайте ему лениться, – сказал Хольм. – Работать он будет у вас дома. В Коллегии ему делать нечего, да и опасно держать близ королевских секретов человека, который уже обнаружил неумную тягу делиться ими за деньги с другими странами.

– Значит, он не просто перебежчик, но и предатель! – изумился Анастасиус.

– Он полезный для нас человек, – неодобрительно глянул на переводчика Хольм. – А это означает, что мы должны его оберегать от всяких случайностей. Запрещаю говорить о том, что известно о Котошихине, даже своей жене. Он предатель по своей судьбе, а в жизни – человек общительный и умный. Вы, Даниил, должны с ним сойтись для общего блага, чтобы он не выкинул нам такого, отчего господин канцлер Магнус де ла Гарди пришёл бы в ярость.

– Но, господин советник! – жалобно проговорил Анастасиус. – Я получаю жалование как переводчик, а вы нагружаете меня дополнительными обязанностями.

– Извините, Даниил, за мою забывчивость, – осклабился Хольм. – Извещаю, что вам на пятьдесят риксдалеров повышено годовое жалование.

Гришка был так крепко смущён известием, что ему придётся жить нахлебником в чужой семье и подчиняться во всём шведским обычаям, что, не пересчитывая, сгрёб жалование в кошель и вышел в коридор, там его сразу же подхватил Анастасиус и провёл в чулан, где Котошихин получил письменные снасти, а также большую стопу бумаги. С помощью переводчика всё это было доставлено в комнату, где за столами на стульях сидели занятые перепиской бумаг писчики. Анастасиус открыл замок на одном из шкафов, сложил туда всё, что они принесли, и достал толстую книгу.

– Узнаешь? – сказал он.

– Как не узнать, – Котошихин взял книгу и взвел её на руке. – Фунтов на десять потянет. Этим Уложением и быка можно оглушить.

– Держи крепче, – сказал Анастасиус. – Заберём её домой. Я буду иногда работать здесь, а тебя, Григорий, придётся расположить в моём доме. Так велел советник Хольм. У нас в Швеции строгое во всём послушание. Тебе это, конечно, в новинку, у вас ведь принято перечить друг другу, или не так?

– Ничего вы, шведы, про русские порядки не ведаете, – обиделся за Москву Котошихин. – Мы вам наврали про наше безурядье, а вы и рады этому до смерти. У нас и порядок есть, и законы. Беда только в том, что они часто друг другу противоречат.

– Такого быть не может! – после некоторого раздумья горячо возразил Анастасиус. – Порядок и закон – это одно и то же понятие.

– У шведов, может статься, и так, – возразил Котошихин. – Порядок – это тот уклад жизни, когда она подчинена здравому смыслу. А ему-то как раз и противоречат законы.

– Быть того не может! – повторил швед с прежней горячностью. – Ты докажи это примером.

– Да вся Россия пример, – поморщился Котошихин. – По здравому смыслу не надо до конца разорять людей, чтобы они были годны платить налоги и на другой год, а по тому же Уложению можно свободного человека не только разорить, но и сделать его рабом.

– Что ж, ты, наверно, эти порядки лучше моего ведаешь, – сказал Анастасиус. – Только и мы не

ангелы, и у нас есть такое, отчего душу воротит.

После такого разговора Котошихин и Анастасиус почувствовали друг к другу приязнь и, не сговариваясь, зашли в питейное заведение, где переводчик был хорошо известен хозяину, который живо явил перед ними на столе вино и закуску. Гришка всё это с удовольствием обозрел и довольно ухмыльнулся: по всему, жить в Швеции было вовсе не худо, и увидели бы подьячие московских приказов, как заседает Котошихин в сотне саженой от королевского дворца с кружкой рейнвейна, то сразу бы сбежали из Москвы и не оглянулись.

К удивлению Котошихина, в трактире не было пьяных, шведы вольготно толковали о всяких делах весёлыми голосами, не толкались на крыльце и в дверях, не лезли друг через друга к прилавку; вкусив отдыха и веселья, они шли по своим делам, а не пили без меры, не лопали винище, пока оно не потечет из ушей, не кидались друг на друга с кулаками, а мирно беседовали.

Не собиравшись напиваться допьяна и Анастасиус, опорожнив свою чарку, он достал кошель и вынул из него деньги.

– Мы уходим? – удивился Гришка. – В таком разе я заплачу.

– В Швеции принято платить каждому за себя, – остановил его Анастасиус. – Это наш похвальный обычай – не одалживаться у чужих людей, чтобы не стать им обязанным.

– Но у меня сегодня праздник, – сказал Котошихин, когда они уже шли на южную сторону города, где Анастасиус имел свой дом. – Даже праздника: приезд и новоселье. Без вина являться к тебе было бы неудобным.

– Это будет последний раз, когда восторжествует московский обычай, – засмеялся Анастасиус. – На моей улице есть торговая лавка, и вино там недурное.

«Стало быть, Анастасий не так уж и строг по части винопития, – смекнул Гришка. – Знать бы только – мне это к добру или к худу?»

В лавке, где торговали всяким товаром, Котошихин купил глиняную бутылку вина, и они уже скоро стояли возле ворот дома, которые были невысоки и через них было видно всё, что делалось во дворе. Дом был сделан из бруса, выкрашенного светло-коричневой краской, имел два просторных окна на улицу, высокую и крутую тесовую крышу и сделанные из такого же бруса хозяйственные постройки. Двор был посыпан песком, прибран, вокруг дома был разбит сад, по зимнему времени невидный, но с чисто убранный от листьев чёрной землей.

Появление Котошихина, этой возбуждающей любопытство московской невидальи, вызвало среди домочадцев Анастасиуса лёгкий переполох. Хотя они ждали его прихода, но женщинам всегда не хватает каких-то мгновений, чтобы приготовить себя к выходу. Не стали исключением и обитательницы дома Анастасиуса: пока Гришка, руководствуясь указаниями хозяина, разоблокался и снимал сапоги, затем примеривал домашние туфли, они кинулись, толкая друг друга к зеркалу, чтобы наложить последние штрихи на свою красоту, а затем выстроились шеренгой в гостиной зале.

Весьма смущённый предстоящим знакомством, Гришка, потупившись, последовал за хозяином, а тот голосом счастливого обладателя несметного богатства представил ему жену Марию, дочь Валентину и сестру жены Линду.

– А это будущие толмачи и переводчики Коллегии иностранных дел! – объявил Анастасиус, указывая на мальчиков лет шести и семи, которые чинно стояли в одной шеренге со взрослыми.

Котошихин осмелел, поднял голову и поздоровался, в ответ вся шеренга его приветствовала – женщины лёгким приседанием с оттопыриванием локтей, а мальчики поклоном.

– А сейчас, Григорий, мы оглядим твою комнату.

По коридору, застеленному полосатой ковровой дорожкой, они прошли в конец дома.

– Хотя мои сыновья добродетельны, но иногда шалят. Поэтому я даю тебе комнату в стороне от других.

– Неплохо бы знать, где тут у тебя царское место? – сказал Котошихин.

– Какое царское место? – не сообразил Анастасиус.

– А такое, куда даже царь пешком ходит.

Хозяин молчал, похлопывая глазами, а затем расхохотался.

– Это совсем недалеко от твоей опочивальни, сразу за углом.

Комната, в которой предстояло жить и работать Котошихину, была просторной и светлой. Возле широкого окна с видом на сад стоял стол с приставленным к нему стулом. У стены находилась кровать, застланная клетчатым одеялом, рядом с ней находился широкий и вместительный шкаф.

– Ну как? – сказал Анастасиус. – Может, что-нибудь не годится?

– Всё годится.

– А что ж ты нахмурился?

– Я опечалился тому, что у нас на Москве не многие дворяне живут так, как живёт переводчик в Стокгольме.

– Не торопись судить, Григорий, – сказал Анастасиус. – Швеция будет поболее моего дома, и у нас своих бед немало.

Он подошёл к столу, выдвинул из него ящик и поманил Котошихина.

– Здесь всё необходимое тебе для письма. Потом всё это оглядишь, а теперь нам надо поторопливаться к столу.

Едва они вошли в столовую, как жена Анастасиуса сразу обнаружила, кто в доме имеет большую власть: она сама взяла Котошихина за руку и указала ему место за столом, как раз напротив неё. Пока она двигалась перед ним и шевелилась, Гришка не преминул заметить, что её тело, стиснутое тесным одеянием, вкусно поигрывает своими мягкостями, и ощутил, как его голова слегка запошумливалась, почти так же, когда он спешил к Немецкой слободе на встречу с Сельмой.

К счастью, головокружение у Гришки длилось всего мгновение, его взор обратился к столу, заставленному праздничной шведской снедью. Главным событием на белой холщовой скатерти был копчёный гусь, помещённый на тонком медном блюде, на него и нацелился с ножом Анастасиус, быстро и умело разделивший птицу на доли, которые все брали на свои тарелки по старшинству. Затем были наполнены чарки, и Котошихин с некоторым замешательством увидел, что хозяйка себя не обнесла вином, как и свою сестру Линду.

Гришка потянулся к своей чарке, но тотчас отдернул руку: Анастасиус, сцепив кисти рук над столом, прочёл молитву, затем все выдохнули: «Аминь!» Гришка промолчал и сразу, вслед за хозяином и хозяйкой, взялся за чарку, опрокинул её и впился зубами в ногу копчёного гуся.

- 5 -

Далеко не сразу, но со временем Котошихин притерпелся и привык к своему стокгольмскому бытию, благо оно было сытным, покойным. Никто не стоял у него над душой, никакой страх не нависал над его головой, он усердно, по одной странице в день, исправлял и выверял переведённый Анастасиусом текст свода русских законов и, чтобы совсем не облениться, по своей охоте учил отпрысков квартирного хозяина русскому языку, но и эти хлопоты не заслоняли Гришку от скуки, которая стала наваливаться на него всё чаще, всё неодолимее. Кажется, он жил так, как мечтал об этом на Москве, достиг желанной свободы ругать московские порядки и думать обо всём, что только похочет, но неправды Москвы в Стокгольме мало кого инте-

ресовали, сочувствовать каторжной доле подьячих в московских приказах шведы не спешили. Сначала беглого москвиты вежливо слушали и даже испускали сочувственные стоны, но вскоре даже Анастасиус, на которого Гришка тратил в трактирах полученные у Хольма риксдалеры, стал явно скучать и смеживать в дремоте очи, а если спохватывался, то только за тем, чтобы приложиться к чарке, до которой он обнаружил неуёмную любовь.

Мария скоро спроведала, кто спаивает её благоверного, и задала Котошихину крепкую взбучку, после чего тот надолго остался без собутыльника, а в одиночку ему не пилося, и он стал раздумывать о своей жизни, и чем усерднее Гришка искал ответа на вопрос, что его ждёт впереди, тем острее стал понимать, что его судьба похожа на сгнивший и подламывающийся настил, под которым дымится бездна преисподней.

Котошихин впал в отчаянье, которое в самое близкое время могло привести его к мысли совершить над собой дурно, но его спасло знакомство с Олафом Баркгузенем, переводчиком Коллегии иностранных дел, который обратился к нему за разъяснением переводимого им текста. За работой они разговорились, прислушались, присмотрелись друг к другу, и между ними возникли приятельные отношения. Гришку тянуло выговориться, Олаф умел слушать и поддерживать разговор вовремя поставленными вопросами. Он принадлежал к редкому числу иноземцев, которые, не зная России, не спешили её охаивать, и с явным интересом стремился узнать о ней как можно больше самых разных сведений. К тому же швед обладал добрым и чувствительным сердцем и искренне сочувствовал Котошихину, которому волей случая пришлось покинуть отчизну и жить хотя в прекрасной, но незнакомой стране.

Настоящей причины, по которой он оказался в Стокгольме, Гришка своему новому приятелю не открывал, а тот её и не искал. Баркгузена интересовала Россия, и об этом они говорили часами напролёт, по большей части не сидя дома, а прогуливаясь по тихим и чистым улочкам Стокгольма, что стали нарядны и привлекательны, особенно в предместьях, садами и цветниками, которые попадались здесь на каждом шагу.

Баркгузен был очень умён и не лишён литературного дара, он смог вполне оценить те сведения, которыми располагал Котошихин, и как-то обратил его внимание на то, что тот держит в голове готовую книгу об устройстве Российского государства и её надо только записать.

– Если бы ты знал, Олаф, как мне опротивело

письмописание на Москве! – сказал Котошихин. – Сколько себя помню, только этим и занимался. Да и кому нужно знать устройство России?

– Как можно так неразумно относиться к тому, чем обладаешь? – удивился Баркгузен. – Допустим, ты прав, сегодня Россия находится на задворках Европы, но через век она станет одним из мировых центров. К тому же, написав книгу, ты прославишь своё имя.

– Такое дело не по мне, – после долгого раздумья сказал Котошихин. – А своё имя я прославил так, что и вспоминать не хочется.

Баркгузен не стал настаивать на своём предложении и продолжал расспрашивать беглого подьячего, удивляясь его памятью и острому уму, однако от своей затеи не отказался и как-то явился к приятелю весьма озабоченным.

– Сегодня состоится важное событие, – сказал Олаф. – На кладбище для некрещёных младенцев будут вынимать из могилы гроб великого француза Ренэ Декартуса для отправки во Францию...

– Чем же он так прославился? – заинтересовался Котошихин. – И что француз поделывал в Стокгольме?

– Нам надо поторопиться, если мы хотим увидеть это событие, – сказал Баркгузен. – А по дороге я поведаю тебе то, что о нём слышал.

Южное предместье Стокгольма, где жительствовавший Котошихин, было благоустроено так же, как и другие окраины столицы, но выделялось из них наличием мрачного по своему предначинанию пустыря, на котором обезглавливали преступников, и кладбищем для некрещёных младенцев.

Обычно улицы в этот час были безлюдны, однако когда они вышли из дома Анастасиуса, Гришку удивило большое число карет и всадников, которые следовали со всех концов города на его южную окраину.

– Этот Декартус, видимо, и на самом деле был сильным человеком, если посмотреть на то, как его изымают из могилы, спешат лучшие люди Стокгольма, – сказал Котошихин, с большим интересом оглядывая людской поток.

– Вряд ли здесь найдётся и десяток людей, которые спешат к отверстой могиле великого мыслителя Франции, что отдают себе отчёт, кем был этот человек, – с сожалением произнёс Баркгузен. – Большинство из них движет любопытство – ещё один идол человеческого мышления, о котором промолчал Френсис Бекон. Я хорошо помню приезд Декартуса в Стокгольм, поскольку в 1649 году окончил университет и был принят на службу во

французское отделение Коллегии иностранных дел. Декартус прибыл в Стокгольм по приглашению королевы Христины, и я был среди встречавших на Стокгольмской пристани, вместе с французским послом Шаню. И надо сказать, учёный меня удивил внешним видом, но, видимо, галлы не могут без того, чтобы не поражать всех своим оперением, и Декартус был наряжен как щёголь по наимоднейшему парижскому образцу – в пышном, расчёсанном на крупные локоны сивом парике, камзоле, украшенном бельгийскими кружевами, ботфортах с раструбами. Однако он скоро сменил сей пышный наряд на скромное платье, и я его часто встречал прогуливающимся в обществе французского посла. Но в Стокгольме ему не пожилась, через несколько месяцев он умер.

– Почему же столь славного человека погребли в непристойном месте? – удивился Котошихин.

– Королева Христина распорядилась похоронить Декартуса в главном соборе Стокгольма, но этому воспротивился посол Шаню, который посчитал, что не место католику быть среди лютеран, пусть даже все они покойники.

Пространство кладбища для некрещёных младенцев было обнесено изгородью из колючего кустарника, который цвёл мелкими белыми цветками. На подходе к нему находилось до тридцати карет и несколько десятков осёдланных коней. Приехавшие на них важные господа, сняв головные уборы, глядели, как могильщики достали из могилы гроб, крепкий на вид, но покрытый белыми пятнами плесени, и погрузили его на широкую телегу, запряжённую парой сытых коней. Католический священник прочёл над покойным недлинную молитву, и процессия тронулась в сторону гавани, где стоял присланный за величайшим сыном Франции военный корабль.

Котошихин и Баркгузен проследовали вместе с провожающими до причала. На французском корабле для встречи Декартуса был приспущен флаг и звонил корабельный колокол. Матросы сняли гроб с телеги и внесли его на палубу, где, обнажив головы, его встретили моряки и несколько важных особ.

На Гришку ритуал проводов Декартуса произвёл тягостное впечатление, и, чтобы от него избавиться, он нащупал в кармане два риксдалера.

– По русскому обычаю, – сказал Котошихин, – надо бы Декартуса помянуть чаркой вина.

Баркгузен с предложением приятеля согласился, и они вошли в припортовый трактир, где нашли свободный стол и, усевшись за него, заказали по чарке водки и куску солёной рыбы.

– Почему Декартусу в своё время не пожилось во Франции? – сказал Котошихин, глядя в окно, за которым был виден край гавани. – Он ведь не был мятежником, не хулил ни Бога, ни короля.

– Ему были не по душе божьи королевские слуги, что, как водится, заслоняли собой свет истины, который исходит от всевышнего и монарха, – объяснил Баркгузен. – Учёному и у нас не пожилась. Гонимый католиками, он, поговаривают, пытался вернуть королеву Христину к папскому престолу. Я знаю людей, которые собрались учинить против Декартуса войну, даже сегодня их видел рядом с его гробом.

– Зачем же они пришли? – поразился Гришка. – Что они искали рядом с его останками?

– Сейчас высший свет Европы подчиняется Парижу, а там последние два года явилась мода на Декартуса. После того как его прах захоронят в церкви святой Женевьевы, он обретёт бессмертие в памяти людей. Наш стокгольмский высший свет тоже не против прикоснуться к славе великого француза, потому и сбежался на кладбище. О Декартуса будут идти толки ещё не меньше года, и всякий раз тот, кто был сегодня на его проходах из Стокгольма, сможет покрасоваться заученным наизусть рассказом о своём участии в этом событии.

Баркгузен спешил на уроки, которые он давал великовозрастному оболтусу, сыну своего начальника, и в трактире они не засиделись, рассчитались каждый за себя и вышли на улицу, где побещали друг другу встретиться через два дня.

Котошихину некуда было спешить, и он медленно двинулся в сторону дома Анастасиуса. Его крепко задело увиденное им возвращение останков Декартуса на покинутую им из-за чинимых на ней неправд отчизну. Это напомнило ему о собственной судьбе, и он, затосковав, подумал, что царь за ним никогда не пришлёт корабль, скорее, рядом с ним появится капитан Репин с ножом за пазухой, и никакой посмертной славы у него не будет, и ему как православному суждено остаться зарытым на кладбище для некрещёных младенцев.

«Но ведь и я в силах оставить после себя немалое дело, – вдруг ожгло догадкой Котошихина. – Олаф все уши прожужжал, что мне надо написать книгу о московских порядках. Почему бы это не начать делать тотчас, не сходя с этого места?»

Озарение не покинуло Гришку, и он сумел обзреть мысленно всю книгу, которую ему предстояло написать, и чтобы жажда к труду не проходила, он сразу же нашёл себе поддержку в мысли, что эта книга необходима для инозем-

цев, которые не пропустят её мимо глаз, прочитают и заинтересуются, что это за учёный москвит пребывает в безвестности. А слава на родную землю чаще приходит из чужих краев. Книга, по задумке Котошихина, должна была заслонить в глазах соотечественников совершённое им предательство. «Россия для иноземцев всё ещё неизвестная земля, и я её открою Европе, как Колумбус Америку».

Гришка поспешил домой, в голове у него уже теснились изначальные строки книги, и, забежав в свою комнату, он сразу кинулся к столу, достал письменные снасти и на ослепительно белом листе бумаги вывел чернилами: «О царях и царицах, и о царевичах и о царевнах, и о женитьбе царской, коим обычаем бывает веселие».

Обмакнув подсохшее перо в чернильницу, Котошихин без промедления продолжил резвый ход своей мысли: «Великий князь Иван Васильевич Московский Гордый со многими своими князи и бояры ходил войною со многими войсками под Казанское и Астраханское и Сибирское царствы...»

Он так увлёкся письмописанием, что спохватился, когда в комнате стало темнеть. Гришка зажёл свечу, добавил чернил, сменил начавшее царапать бумагу гусиное перо и продолжил работу с прежней горячностью. Хозяйская дочка Валентина позвала его на ужин, но он от неё отмахнулся и приник к бумаге, страхась только одного, что неслышный голос, нашёптывающий ему всё, до запятой, о чём он должен писать, пропадёт и ему уже никогда больше не удастся погрузиться в блаженство сотворения слов, которое он испытывал сейчас впервые в жизни.

Котошихин оставил работу, когда небо стало светлеть новым днём, и погрузился в сонное беспмятство, из которого вынырнул через несколько часов в великом страхе, что не сможет написать ни строчки, но, подержав несколько мгновений в руке перо, он услышал, как вновь зазвучал в нём вчерашний голос, и всего его окатило волной восторга перед своим всесилием повелевать словами и вызывать на свет такое, о чём он даже не догадывался в своей жизни ни разу.

Баркгузен явился к Котошихину, как и обещал, через два дня и почти не узнал приятеля, подумав, что тот захворал горячкой, глаза у него лихорадочно поблескивали, лицо пылало жаром, речь стала бессвязной.

– К тебе надо звать лекаря! – воскликнул Олаф и собрался за ним сходить, но Гришка его усадил на стул, кинувшись к столу, подал ему с десятка три исписанных листов.

– Что это такое? – заинтересовался Баркгузен.

– Я не настолько владею русским, чтобы всё это прочитать с одного раза.

– Тогда читай хотя бы первые строки, – потребовал Гришка, которого распирала вполне понятная гордость автора.

– Ты решился на книгу! – воскликнул Олаф. – И уже написал две главы! Да ты, брат, скородел, стало быть, не станешь долго мучить меня ожиданием, когда закончишь работу.

– Два дня назад будто что на меня сверху свалилось, – смущённо произнёс Гришка. – Вдруг узрел всю книгу целиком и загорелся. Теперь боюсь, что остыну и брошу на полпути, поэтому о том, чем я занят, помалкивай.

– Но мне-то ты будешь давать на читку, что напишешь? – сказал Баркгузен. – Может, и я сумею что-нибудь подсказать. Могу и не читая дать совет: пиши правду и ничего не придумывай.

– На Москве такое водится, что в других странах и в толк не возьмут, как русское государство не рухнет. Ведь всё в нём устроено так, чтобы схватить человека за шиворот и не выпускать его до самой смерти. Разве и такую правду надо писать?

– Обязательно! – подтвердил Баркгузен. – Однако отыщи и найди причины, почему на Москве такие порядки?

– Они все на виду: русские люди породой своей спесивы, не научены ни к чему доброму, кроме спесивства и бесстыдства, и ненависти и неправды. Тебе это ведомо по русским послам, как они от своих слов отказываются, вину возлагают на переводчиков, юлят, выкручиваются, выдают чёрное за белое, и наоборот.

– Вряд ли они хуже других послов, – сказал Баркгузен. – Все дипломаты таковы, что правды от них не услышишь. Но почему москвиты мало способны к наукам и ремёслам?

– Где же они им обучатся, когда без повеления царя никто не может выехать в другую страну? – помрачнел Котошихин. – Что, и об этом писать?

– Ты на меня не гляди! – сказал Баркгузен. – Приступай к работе, а я тем временем прочитаю то, что тобой уже написано.

– Читай, да только бумагой не шурши, чтобы не сбивать меня с толку, – строго промолвил Гришка и, прочитав и исправив последний написанный им лист, борзо застрочил пером по бумаге, забыв обо всем, что происходило вокруг.

Баркгузен тихонько посиживал в сторонке и старательно вникал в подъяческое письмописание. «Москвиты, наверно, самый многословный народ в Европе, – думал переводчик. – Сколько лет учу русский язык, но до сих пор понимаю с пятого на десятое. Странное дело: говорят они ёмко и

понятно, а как начнут писать, то нагородят и навьют столько словес, что невозможно уловить мысль. Это у них, наверно, идёт от византийского православия, греки были великие мастера на всякие словесные уловки и хитрости».

С этих дней для Котошихина началось главное дело его жизни – создание обширной докладной записки «О России в царствование Алексея Михайловича», как её впоследствии назовут исторические исследователи. По сути дела, беглым подьячим Посольского приказа был написан весьма подробный и достоверный путеводитель по России, интересный для дипломатов, военных, торговых людей и приоткрывающий завесу тайны, которая окружала Московию до появления книги Котошихина. Она, безусловно, была хорошим подспорьем для всех, кто интересовался Россией, ибо кроме рассказа о жизни царской семьи в ней подробно рассказывалось: о царских чиновных людях (от бояр до всяких служилых и дворовых людей); о титулах, которые пишутся государям иных стран; об устройстве посольской службы, жалованье посольским людям, величине подарков, которые даются иноземным государям, о порядке приёма и провозов иноземных послов. Котошихин центральное место в своей книге отвёл описанию устройства стержневых механизмов Русского государства – многочисленных приказов, которые ведали всеми сторонами жизни страны: экономической, военной, правовой, государственным управлением и обеспечением царского двора. Не преминул Котошихин доложить шведам об устройстве русской армии, с перечислением полков и вспомогательных войск, описанием их вооружения и устройства.

Свою книгу Котошихин закончил почти через год, и единственным её читателем пока был Олаф Баркгузен, который иногда задавал автору уточняющие вопросы, на которые Гришка ответил письменно и впоследствии включил свои ответы в книгу. Оценка благожелательно настроенного шведа работы Котошихина была весьма высокой.

– Теперь рукопись надо переписать набело и переплести в книгу, – убеждал Баркгузен. – Её просто необходимо представить его высокопревосходительству Магнусу де ла Гарди. Она ему, безусловно, понравится, и ты, Григорий, через это приобретёшь хорошую должность и достойное вознаграждение.

– У меня нет сил на неё смотреть, – отнекивался Гришка. – Может, кто другой переписет рукопись, а я с будущей награды с ним рассчитаюсь.

– Такого человека не найти во всей Европе, –

убеждал его Олаф. – Тебе надо переписывать книгу самому. Так ты узришь в ней свои ошибки и выправишь, а переписчик их пропустит, да ещё и своих наделает в придачу к твоим.

Это соображение убедило Котошихина вновь взяться за перо, и через два месяца переписанная книга была в руках Баркгузена.

– Надо её переплести, – сказал он. – У тебя есть на это деньги?

– Я давно пуст, – помрачнел Котошихин. – На меня Анастасиус косо поглядывает, только Мария ко мне снисходительна.

– Не завёл ли ты с ней шашни? – беспокоился Олаф, заметив, что Гришка сладко произнёс имя жены Анастасиуса и вкусно причмокнул. – Не зови, Григорий, на свою голову лихо! Отойди от соблазна подальше! Я могу тебя поместить на квартиру, где женским духом не попахивает.

– Это мои заботы, – легкомысленно произнёс Гришка, который после завершения книги почувствовал в душе присутствие весёлой лёгкости, коя случилась с ним и в прежние дни на Москве, когда он совершал свои сумасбродные поступки. – А тебя, Олаф, я прошу взять на себя заботы по переплёту книги в крепкую и мягкую кожу.

– Это я тебе обещаю, – сказал Баркгузен. – Сегодня же книга будет у переплётчика, но ты не забудь моё предупреждение. Анастасиус во хмелю бывает прилипчив со своими дикими выдумками. Сейчас мы терпим друг друга молча, а было время, когда он меня обвинил в ухаживании за своей женой и бросался в драку.

– Меня ему обвинять пока не в чем, – лукаво произнёс Гришка. – А там поглядим.

Баркгузен сожалеючи повздыхал, поглядывая на готового сунуть голову в западню Котошихина, взял рукопись и покинул дом Анастасиуса, из которого его взглядом проводила Мария, немедленно поспешившая в комнату русского жильца.

– Что с тобой, Мария, стряслось? – вскинулся Котошихин. – На тебе лица нет!

– Даниил опять загулял, – чуть не плача вымолвила Мария.

– На какие зажитки он гуляет? – удивился Гришка. – Жалованье ещё не давали.

– Из Нарвы приехали русские купцы, он подрядился им толмачить, и тебе должно быть ведомо, что московиты без водки жизни не знают.

– В этом ты права, без хмельного нашему брату и в Швеции скучно.

Мария тесно приблизилась к Гришке, он учуял терпкий запах здорового и свежего женского тела и сказал дрогнувшим голосом:

– Не знаю, чем и помочь твоей беде.

– Разыщи Даниила и приведи домой. Я только сейчас поняла, какую сделала глупость, когда вышла замуж за порченного пьянством вдовца с дочерью. Я однажды, забрав детей, уже уходила из дома, ведь он губит не только себя и меня, но и ребят.

– Где он гуляет? – сказал, взявшись за шапку, Котошихин.

– В каком-то портовом трактире.

Гришка вышел из дома. Вокруг уже начали сгущаться сумерки, на улице до самой гавани он повстречал всего несколько человек, но это были служивые люди, ночная стража на конях. Они Котошихина знали, молча приветствовали его кивками и продолжали свой путь. По сравнению с Москвой в шведской столице ночью было скучно: в ней не раздавалось ни песен подгулявших горожан, ни душераздирающих криков ограбленных, ни топота стражников и выстрелов по убегающим разбойникам. Шумно было только возле портовых трактиров, но и там не как на Москве, с ором и мордобитием, а чинно и благопристойно: немецкие матросы шаркали по столешницам наполненными пивными кружками и, обхватив друг друга за плечи, горланили песню финны, притопывая сапожищами вослед каждой проглоченной ими чарке вина, англичане жгли табак в своих коротких трубочках и поглядывали вокруг, не бросает ли кто в их сторону насмешливых взглядов, с тем чтобы немедленно рассчитаться с обидчиками крепкими тумакими.

Гришка заглянул в один трактир, в другой – и нашёл русских купцов только в пятом питейном заведении, где они посиживали в просторной комнате и разговаривали со шведскими торговыми людьми. Котошихин ожидал встретить своего нарвского приятеля Кузьму Овчинникова и не ошибся, он был здесь, и как углядел Гришку, то с пьяной слезой радости в голосе бросился ему на шею.

– Рад тебя видеть, Григорий Карпович, в добром здравии! – возгласил купец. – А я целый день тормошу Анастасиуса, чтобы он тебя привёл, а ты сам явился.

– Я и не ведал о твоём приезде, – сказал Гришка, оглядывая подгулявших купцов. – А где Даниил, что-то я не вижу его лысины над столом.

– Данилка, брат, отдыхает на полу под столом. А тебе он зачем? Или до сих пор с ним не наговорился?

– Меня за ним его жена прогнала, – сказал Котошихин. – Сходи, говорит, отыщи моего мужа у московитов, пока он жив, и приведи до дому.

– Данилка скоро оклемается, – сказал Кузьма

Афанасьевич. – А ты о себе скажи, как живёт-ся-можется?

– Рад бы, Кузьма, и по-другому жить, да не могу, – вздохнул Гришка. – Из московской неволи попал в шведскую волю, а счастья не ведаю.

– А ты пореже о нём мечтай, тогда оно скорее явится, – посоветовал Овчинников, подвигая к Гришке наполненную вином чарку. – Это наш русский швед Григорий Котошихин! – объявил он. – Если Анастасиус завтра не сможет толмачить, то он нас выручит.

Здесь были купцы из Пскова, и о бегстве подъячего Посольского приказа они знали, как и о том, что московские власти требуют выдачи предателя и не замедлят отрубить ему голову, если он попадётся им в руки.

Нескромные взгляды торговых людей насторожили и обидели Котошихина, и он тронул Овчинникова за рукав:

– Тормоши Анастасиуса, мне пора тащить его домой.

– Поднимай его сам: ты ему свой, а на меня он может разобидеться, – сказал Овчинников.

Гришка взял Анастасиуса под руки, поставил на ноги, но он тотчас стал валиться на сторону, и его пришлось крепко держать.

– Он же спит стоймя, – сказал Кузьма Афанасьевич. – Давай, Григорий, я его поддержу, а ты три что есть силы ему ладонями уши.

Котошихин не пожалел силы и старания, и скоро Анастасиус захлопал очами и стал вырываться из рук Овчинникова. Купец его отпустил, и толмач зашаршился вокруг стола.

– Бери его, Григорий, и волоки на улицу! – велел Овчинников. – Завтра я тебя жду, Данилка вряд ли оторвёт от подушки голову, будешь вместо него толмачить, и не даром, а за деньги.

Анастасиус некоторое время плёлся рядом с Котошихиным, затем стал спотыкаться и присматриваться к мостовой, чтобы на неё улечься. Гришка потрепал его за уши, и швед взбодрился, но скоро опять заспотыкался, и Гришка его вновь взбодрил. Так они передвигались к южному предместью города, пока не повстречали конную ночную стражу.

– Сегодня у переводчиков праздник, – сказал служивый и, наклонившись, схватил Анастасиуса за шиворот и погрузил его поперёк коня перед собой.

– Господин стражник! – испугался Котошихин. – Не забирайте господина Анастасиуса в холодную, у него слабое здоровье.

– Это у вас, московитов, людей отрезвляют вымораживанием, – заявил стражник. – А мы их доставляем к своим постелям.

Он шевельнул поводьями и в сопровождении своего товарища и поспевающего за ними вперёд Котошихина направился к дому Анастасиуса. Ночная стража по прежним встречам знала Даниила как гуляку и не раз помогала добраться ему до калитки.

Анастасиус кулем сверзился с коня и начал похрапывать. Гришка подхватил его под руки и волоком подтащил к крыльцу, на которое, пылая гневом, выбежала Мария. Она помогла Котошихину дотащить мужа до кровати, сняла с него сапоги и ослабила на животе пояс.

Гришка добрался до своей комнаты и, пользуясь лунным светом, не зажигая свечи, разделся и возлёг на свою постель. День выдался для него хлопотным, его стало клонить в сон, и перед тем как закрыть глаза, он посмотрел на дверь. Она была не заперта на крюк, и кто-то за ней стоял. Послышался лёгкий скрип, Гришка уже знал, кто присел с ним рядом, но не открывал глаз, пока не услышал:

– Если бы ты знал, как он мне опротивел...

– Молчи, Мария, – шепнул Гришка и, опрокинув её рядом с собой, стал подниматься на четвереньки.

- 6 -

На следующее утро Котошихин, весьма приутивший от крепких и душных объятий квартирной хозяйки, залежался в постели и продрал глаза уже после того, как оторали все стокгольмские петухи. Он выпростался из одеяла и голяком прошёл к скамейке, на которой в медном тазу была вода для умывания, ополоснул лицо и, взяв полотенце, стал утираться перед зеркалом, в котором вдруг что-то промелькнуло. Гришка обернулся и, ойкнув от неожиданности, прикрыл полотенцем причинное место: за окном стояла Валентина, падчерица Марии, устремив на него пронзительный немигающий взгляд. Свой испуг обозлил Котошихина, он отбросил полотенце в сторону и зашлёпал босыми ногами к окну.

– Ты сюда явилась в гляделки играть? – сказал он, открыв створки. – Лезь в комнату.

Валентина, не дрогнув ни одной жилкой, отвернулась от Гришки и ушла, а он сплюнул через окно и стал поспешно одеваться. Сегодняшний день обещал быть хлопотным, но сулил, в случае удачи, хороший заработок у русских купцов, которым нужен был толмач. Выйдя из комнаты, Гришка сунулся к Анастасиусу, но тот спал и не думал просыпаться. Возле кухни он столкнулся с

Марией, она потянула его за рукав в кухню, где подала ему большую кружку тёплых сливок и кусок мягкого хлеба.

– Я иду с русскими купцами, – сказал Котошихин. – Объяви это Баркгузену, если он будет здесь.

Прогулка по утренним улицам города взбодрила Котошихина, от усталости, с которой он встретил новый день, не осталось и следа, он весело смотрел вокруг себя, улыбаясь встречным служакам, спешившим с большими корзинами к торгу за свежей провизией. Этот еженедельный выход был для них праздником, и они готовили к нему наряды, чтобы покрасоваться друг перед другом и столичными щеголями, которые норовили их ущипнуть за мягкие места и необидно потешиться над девичьей стыдливостью.

Однако дойти до русских купцов Котошихину сразу не удалось, его перехватил Баркгузен, окликнув из кареты, а затем явивший перед ним своё весёлое лицо.

– Ты чему так рад, Олаф? – спросил Гришка.

– Сейчас и ты будешь доволен, – улыбнулся Баркгузен. – Твою книгу я смог показать самому Магнусу де ла Гарди. Его высокопревосходительство велел мне перевести главу о ратных делах, весьма её одобрил и тут же указал повысить тебе оклад до трёхсот риксдалеров в год. Этот доход, Григорий, сможет сделать твою жизнь приятной и полноценной: на него ты сможешь содержать жену.

– У меня, Олаф, никогда не было такого бескорыстного доброжелателя, как ты, – обрадованно произнёс Гришка. – Ведь тебе от твоего старания нет никакой выгоды и тебя мне отблагодарить нечем.

– Считаю, что и среди лютеран встречаются великодушные люди, – лукаво усмехнулся Баркгузен. – Просто я сочувствую твоим несчастьям и вижу в тебе горемыку, коего судьба разом одарила большими способностями и не меньшими бедами.

От нежданного сочувствия Гришка невольно расчувствовался, у него на ресницах вспыхнули искорки слёз, а к горлу подкатил жёсткий комочек, который он с трудом сумел проглотить.

– Спасибо тебе, Олаф, за добрые слова! Я их почти никогда не слышал, даже в детстве. Хотя я помню свою мать, и у меня жив отец, я вырос как сирота, без доброго поучения и ласки. Оттого, наверно, все мои несчастья, да ещё от пестроты нрава, как говорил дьяк Алмаз Иванов.

– С новым жалованьем у тебя есть возможность зажить по-новому, – сказал Баркгузен. – От Анас-

тазиуса тебе надо съезжать. Там тебе оставаться опасно.

– Это почему? – насторожился Гришка. – В чём ты усмотрел для меня опасность?

– Сейчас для тебя очень важно получить о себе мнение как о добропорядочном человеке, – острожно сказал Баркгузен. – Мы, шведы, очень щепетильны в отношениях с другими людьми и руководствуемся сложившимися в обществе мнениями...

– Нельзя ли всё объяснить проще и покороче, – перебил его Гришка, который боялся опоздать к утреннему винопитию русских купцов.

– Что ж, можно и проще, – смущённо сказал Олаф, который уже раскаивался в том, что начал этот разговор. – Опасность в тех дамах, которые находятся близ тебя в доме Анастасиуса. Всему Стокгольму известно, что Даниил живёт шумно, Мария уже несколько раз от него уходила, но возвращалась, там же живёт её сестра, падчерица, которой пора выходить замуж. Анастасиусов обсуждают во всех домах южного предместья, а значит, обсуждают и тебя, потому что ты живёшь у них. Скажу даже, что наши кумушки начинают находить в тебе причину разлада в этой семье.

– Этого мне только не хватало! – воскликнул в сердцах Котошихин. – Ты прав, Олаф, мне надо от Анастасиуса бежать. Вот получу сегодня от русских купцов деньги и съеду в портовую гостиницу. А ты, Олаф, приглядывай мне жилище поспокойнее. На триста риксдалеров я заживу барином.

– Я очень хотел бы, чтобы ты продолжил своё описание Московии, – сказал Баркгузен.

– А что, эта книга тебе разонравилась? – ревниво осведомился Гришка.

– Она великолепна! – воскликнул Баркгузен. – Но у тебя будет возможность её сделать ещё лучше, то есть расширить её новыми главами. Скоро я тебя сведу с учёными людьми из университета в Упсале, они обязательно заинтересуются твоей книгой, и через них она может стать известной всей Европе.

– Я не против своей славы, – усмехнулся Котошихин. – Но сейчас мне надо сшибить несколько риксдалеров у купцов. Загляни, Олаф, ко мне завтра, и мы обо всем потолкуем.

И Котошихин устремился по улице к гостинице, где остановились русские купцы. О том, что они продрали глаза, а некоторые уже приняли на грудь по доброй чарке водки, Гришка узнал по громким голосам, которые слышались из комнаты, где они находились. Он широко распахнул дверь и увидел всех за столом. Овчинников сплунул на пол рыбную кость и распростёр объятия:

– Ты, Григорий Карпович, угодил как раз к столу!

– А это ещё что за невидаль? – сказал, обжигая прищельца красными с перепоя глазками, важный с виду купчина.

– Это, Елистрат Фадеевич, бывший подьячий Посольского приказа Котошихин, который нынче состоит в королевских переводчиках.

– Так он что, русский? – сказал купец.

– Русее быть не может! – объявил Овчинников. – Судьба только вот заманила его в Стекольную, то бишь Стокгольм.

– Стало быть, ты предатель? – медленно выговаривал Елистрат Фадеевич. – Иуда, значит! Мне, Кузьма, такой толмач не нужен. У меня переговоры на пять тысяч рублей, а этот переметчик-переводчик стакнется со шведами и обнесёт меня на тыщу рублей или поболее. А где вчерашний толмач Данилка?

– С похмелья мается, где же ещё? – сказал Овчинников.

– Как же быть? – забеспокоился купец. – Может, ты, Кузьма, потолмачишь?

– Уволь от такой чести, Елистрат Фадеевич, – отказался Овчинников. – Не ровен час, совершу ошибку в переводе, ты же меня со света сживёшь. Жди Данилку, когда-то и он просохнет.

Дверь в комнате была неплотной, и возле неё в коридоре стоял Анастасиус и всё, что о нём говорилось, слышал.

– А я и не промокал, Кузьма Афанасьевич, – обиженно произнёс он, переступая порог. – У меня, наоборот, всё нутро ссохлось. И от полной чарки рейнского я бы не отказался.

– Испей, Данилка, – сказал Елистрат Фадеевич. – Да поторапливайся, успевай губы промокнуть, а то, я слышу, ко мне торговые люди уже подходят.

В коридоре слышались несколько голосов, по-шведски спрашивающих о русских купцах. Анастасиус утёр губы ладошкой и, высунувшись в коридор, позвал торговых людей в комнату. Гостей было двое, они чинно поздоровались и выжидательно поглядели на Елистрата Фадеевича. Купец догадливо ухмыльнулся и обратился к своим спутникам:

– Извольте, дружье, побыть снаружи, пока я с гостями перетолкую. И прихватите с собой предателя, глаза бы мои на него не глядели!

Гришку слова именитого купца обожгли насквозь, он уже забыл, живя среди шведов, кем он является для своих соотечественников. Он жалко скривился и обиженно глянул на Овчинникова:

– Зачем ты, Кузьма Афанасьевич, объявил мое имя перед купцами? Теперь мне надо уходить, никто меня себе толмачом не возьмёт.

– Промашка, Григорий, вышла. У меня после вчерашнего попойки в голове петухи горланят.

– Я надеялся заработать несколько денег, – укоризненно сказал Котошихин. – Я тут совсем прожился.

– Не беда, Григорий, – обрадовался купец. – Я тебе помогу, дам риксдалеров десять, но я торговый человек, посему даю только в долг.

– Мне без разницы, – сказал Гришка. – Канцлер де ла Гарди сегодня повысил мне жалованье до трёхсот риксдалеров в год. Беру у тебя двадцать монет.

– За что же тебе канцлер жалованье повысил? – недоверчиво сказал Овчинников, но кошель с пояса снял.

– Я написал важную для королевского величества книгу, – надменно произнёс Котошихин. – Сыпь риксдалеры.

Переговоры торговых шведов с русским купцом длились долго. Остальные купцы и Овчинников ушли по своим делам, а Гришка мыкался возле гостиницы, как телок на привязи. Только соберётся отойти от неё совсем, сделает с десяток шагов и опять возвращается и ждёт Анастасиуса, а за чем – и сам того не ведаёт.

Даниил вышел из гостиницы изрядно навеселе, отягощённый десятком риксдалеров и песцовой шкурой, которую держал на плечах, как воротник.

– Гришка, друг! – воскликнул он, сходя на подламывающихся ногах с гостиничного крыльца. – Я при деньгах, но в них ли счастье?

– Пойдём домой, Данила, – сказал Котошихин, придерживая Анастасиуса за руку. – Тебе надо отоспаться, чтобы советник Хольм на тебя не прогневался.

– Что Хольм? – закуражился Анастасиус. – Я в Коллегии иностранных дел лучший переводчик с русского, твой приятель Баркгузен мне в подмётки не годится, ведь так?

– Всё так, Данила, – сказал Котошихин. – Однако пойдём к Марии. Она, кажется, сегодня собралась выставить на стол копчёного гуся.

Напомнив Анастасиусу про его женку, Гришка задел самые жалобные и плаксивые струны в душе переводчика. Даниил скорбно посмотрел на Котошихина и проникновенно вымолвил:

– Для меня, Гришка, Мария дороже жизни. Я её обижаю своей гульбой, поэтому ей сегодня сделаю подарок. Ступай за мной!

– Куда? – не отстал от него Котошихин. – Сделаешь подарок на трезвую голову.

– Я давно ей обещал купить золотое кольцо! – заявил Анастасиус. – И даже присмотрел в этой лавке.

– Господа ошиблись дверью! – загородил дорогу Анастасиусу приказчик. – Питейное заведение в следующем доме.

– Вот и сбегай туда за вином! – отодвинул его в сторону Анастасиус. – А я пока приценюсь к золотому кольцу.

Позвякивание монет в замшевом кошельке убедило приказчика, что к нему явились серьёзные покупатели. Он мигом выдвинул ящик, где на чёрном бархате лежали драгоценности, и допустил к нему Анастасиуса, который, не колеблясь, указал на золотое кольцо с сапфиром.

– Подбери для подарка достойную коробочку!

– Извольте подождать! – раболепно воскликнул приказчик, исчез за ширмой и через мгновение появился вновь с вычурной кожаной коробочкой, в которую с великим бережением уложил покупку, ловко отстранил Гришку от Анастасиуса и, поддерживая его за локоть, вывел из лавки на мостовую.

Совершив покупку, Анастасиус заметно протрезвел и выглядел вполне уверенно. Он уже не походил на расслабленного нытика, каким был совсем недавно. Гришка искоса на него поглядывал и усмехался, он живо помнил, с кем делил ночью постель, и чувствовал не угрызения совести, а сытость обожравшегося соседской сметаной кота. Конечно, Мария не шла ни в какое сравнение с Сельмой, но, по Гришкиному разумению, чужая женка – всегда лакомство, от которого невозможно отказаться, как от найденного на дороге полного штофа с вином.

Эти шальные мысли так развеселили Гришку, что он чуть было не начал приплясывать, но вдруг его будто кто-то толкнул в грудь. Он глянул перед собой и почувствовал, что его душа вот-вот сорвётся вниз: в десяти сажнях от него стоял весь в чёрном православный монах и пристально глядел на Котошихина. «Это моя смерть!» – мелькнуло в голове беглого подьячего, и он юркнул за спину Анастасиуса.

– Ты кого так напугался? – сказал Даниил. – Монаха?

– Его, – пролепетал Котошихин побелевшими губами. – Откуда он здесь взялся?

– Наверно, явился в Стокгольм в свите русского посланника Ивана Леонтьева. Но ты зря испугался: я переводил перечень русских претензий шведской короне, и ты в них не упомянут. А монах, видать, заблудился, да и нас испугался, его уже и след простыл.

Однако слова Анастасиуса не успокоили Котошихина, его душа, хотя и вернулась на своё отведенное ей Господом место, но продолжала вздра-

гивать, предчувствуя новые и скорые напасти. Гришка не сомневался, что явление монаха не было делом случая, но спрятаться от грядущей беды ему было некуда, кроме как в доме Анастасиуса, который потянул Котошихина в лавку, где купил несколько посуды с водкой и рейнским вином.

– Я виноват перед Марией тем, что гуляю без неё, – бормотал Анастасиус. – На это она и обижается. Сегодня будет её праздник.

На выходе из лавки Гришка опять испытал потрясение: ему снова привиделся монах возле калитки во двор Анастасиуса. Он потряс головой, сознание очистилось, у калитки стояла Мария и презрительно оглядывала приближающегося супруга. Не дожидаясь, пока он к ней кинется на шею, Мария ушла в дом, а Даниил со вздохом произнёс:

– Захотел угодить ей подарком, да не пришлось. Что делать, Григорий?

– Неси золотое кольцо на вытянутой вперёд руке, чтобы она раньше его увидела, а уж потом твою хмельную рожу.

Выставив вперед себя кольцо, Анастасиус скрылся в дверях дома. Гришка не поспешил за ним следом, и скоро до него донеслось сладкое чмокание, затем послышался весёлый смех и несколько радостных голосов: Валентина, Линда и Мария принялись разглядывать и нахваливать подарок Даниила, который на них самодовольно поглядывал и раздувал щеки.

Гришка, оставив вино в прихожей, протиснулся мимо радостных домочадцев в свою комнату, разулся, разделся и лёг на постель. Встреченный им монах не выходил у него из головы, как и то, что в Стокгольме появился посланник Леонтьев. Ещё не радость то, что он не потребовал у шведских властей Гришкиной выдачи. Может, монах бродил по южному предместью Стокгольма за тем, чтобы найти дом, где обитает Котошихин, и наслать на него злодея, которому лишить человека жизни плевое дело. «Ясно, что не к добру привиделся мне нынче черноризец, – размышлял Котошихин. – Надо сидеть дома и выходить из него только по крайней нужде».

Гришка верно ощутил приближавшуюся беду, но она шла не с улицы, а была рядом, за двумя комнатными перегородками, где в своей спальне, кусая до крови губы, ходила из угла в угол падчерица Валентина. Она чувствовала великую обиду на всех, но больше всего на мачеху, только что получившую на её глазах в подарок золотое кольцо, о котором она мечтала сама. Злость вспыхнула в девице не случайно, она копила её давно, с тех пор как после конфирмации и первого причастия

поняла, что в семье Анастасиуса, имевшего от брака с Марией родных детей, ей уготована судьба безмужней девицы на всю свою жизнь, и тут случай дал ей в руки орудие мщения.

Валентина появилась утром перед окном комнаты Котошихина вовсе не случайно, она ещё раз захотела взглянуть на место преступления своей мачехи, чему стала обрадованным свидетелем, когда, заслышав тяжёлые шаги в коридоре, выглянула в дверь и, убедившись, что Мария зашла к Котошихину, накинула на плечи шаль и выскользнула из дома, подобралась к окну квартиранта, осторожно заглянула в него и увидела в освещённой лунным светом комнате то, что было ей уже давно ведомо из подглядываний за родителями.

Всю ночь впечатлительную девицу терзали бредовые сновидения, в которых к ней явился Котошихин и не давал ей покоя до самого утра своими руками, губами и чем-то ещё, отчего Валентина испытала величайшую сладость. Проснувшись, она долго лежала, прислушиваясь к себе, затем встала с кровати и, одевшись, побывала рядом с окном квартиранта, а после зашла на кухню, села на стул и долго смотрела на Марию, которая от ночных радостей была весела и даже не упрекнула Валентину, что та сидит без дела и смотрит на неё полубезумным взглядом.

Ближе к вечеру в доме вкусно запахло: копчёный гусь был готов и так проникновенно возглаголал о своём присутствии, что это стало ведомо крепко почившему после прихода домой Анастасиусу. Он завозился, собирая ногами одеяло, на своей постели, простёр руку и взял бокал с яблочным соком, ополоснул им своё пересохшее нутро и стал одеваться к выходу. Гусь требовал, чтобы к нему относились почтительно, и Анастасиус облачился в тонкие шёлковые штаны, рубашку с кружевным воротником и куртку из красного сукна, расшитую на груди и рукавах серебряными нитями. Он одобрил свой вид, глядя в зеркало, а вихор, торчавший над макушкой, стал пришлёпывать смоченной яблочным соком ладонью, когда позади него возникла дочь, Анастасиус резко обернулся и нахмурился:

– Ты почему, Валентина, явилась в мужскую комнату без стука?

– Беда является без предупреждения, – девица разглядывала отца без всякого стеснения.

– Что-то я тебя, барышня, не пойму, – строго произнёс Анастасиус. – Прекрати говорить загадками!

– Какие уж тут загадки, – повела плечом Валентина. – У меня одни разгадки. Спроси свою жену, на чьей кровати она провела ночь.

Анастасиуса от этого известия крепко покачнуло, но он устоял на ногах и жалобно, сквозь слёзы, промолвил:

– Где она была? Ты её видела?

– Так же хорошо разглядела, как золотое кольцо, которое ты ей подарил. На кровати у русского.

– Значит, Гришка?

– А кто же ещё? – взялась за ручку двери Валентина. – Ты его сам и привёл сюда на свою голову. Поторопись, чтобы он без тебя копчёного гуся не сожрал.

Анастасиус кинулся за ней следом, но на пороге столкнулся с Марией и от неожиданности оторопел, стоял, выпучив глаза, и бессмысленно взмывал.

– Тебе плохо? – обеспокоенно сказала она и, подхватив обмякшего супруга, возложила его на постель. – Что стряслось, Даниил? На тебе лица нет. Это всё от пьянки!

Последние слова озлили Анастасиуса, и он встал из полупокойников:

– Это со мной не от винопития, а от твоих шашней с Гришкой! – выпалил, сжав кулаки, Анастасиус. – Ты вчера всю ночь кувыркалась с ним на его постели!

– И кто снабдил тебя такими сведениями? – не дрогнув, сказала супруга. – Можешь не отвечать – это Валентина. Она сейчас была у тебя и оболгала меня самым постыдным образом.

Неожиданно Мария разразилась столь громким и обильным плачем, что Анастасиус опешил, а потом запаниковал: он не мог переносить вида чужих слёз и захлопотал вокруг супруги, поглаживая её по мягкостям, шепча нежные слова и покрывая поцелуями всё, к чему только смог дотянуться губами. Мария перестала реветь белугой и начала поскуливать и тесниться к Даниилу своей преобширной грудью, в которую он, в конце концов, и зарылся лицом и сладко запостанывал.

У супругов не было желания отлипнуть друг от друга, но их требовал к себе копчёный гусь, о чём им напомнила, постучав в двери, Линда. Анастасиус растёр ладонями помятое в мягкостях супруги лицо, Мария смахнула с ресниц влагу, и они, улыбаясь, проследовали к столу, где изнывал от сухости во рту Котошихин. Анастасиус по-хозяйски разделил гуся, Мария разлила по чаркам вино, супруги, влюблённо всматриваясь друг в друга, выпили и принялись за гуся, Гришка ждал приглашения угоститься, но его не последовало, и он злился, забыв, что у шведов не принято надоедать гостям за столом, где каждый ест и пьёт в свою меру.

Он нехорошо глянул на Анастасиуса, взял самую

большую чарку, наполнил её всклень крепким вином. Опорожнил одним духом и потянулся к гуся.

– Надо отложить гуся мальчишкам! – спохватилась Мария и завладела блюдом.

От закуски на столе остался вчерашний яблочный пирог, Гришка оторвал от него кусок и утишил им пылавшую в горле винную горечь. Он уже не просто злился, но был близок к тому, чтобы вспыхнуть яростью. Масла в огонь подлила Валентина, которую скорое примирение супругов возмутило своей поспешностью: она взяла ещё нетронутый ею кусок гусятины и положила перед московитом.

– Угощайтесь, господин Котошихин, – ласково пропела девица. – Вы здесь уже свой человек и почти родственник.

Эти слова развеселили Гришку, он налил вина хозяину и себе и поднял чарку.

– Ты, Данила, точно мне стал братом. Ты мне крепко помогаешь обосноваться в чужой для меня стране. Я тебе многим должен, за всё и не рассчитывать, в моём уважении к тебе ты можешь не сомневаться.

Анастасиус и Мария благожелательно слушали Котошихина, и вдруг эту благостность разрушил неистовый издевательский хохот Валентины. Она прямо-таки забилась в корчах и, едва совладав с собой, прохрипела:

– Он тебе, отец, ближе, чем брат, ближе!..

Лицо Марии исказила ненависть, она схватила падчерицу за волосы и, награждая оплеухами, поволокла в коридор, где стала её пинать и топтать. Девица визжала, но оставшиися в столовой её не слышали. Котошихин и Анастасиус стояли, набычившись, друг против друга, и хозяин в руке стискивал нож, которым он разделывал копчёного гуся.

Линда оцепенело вглядывалась в готовых совершить убийство соперников и едва слышно вскрикивала:

– Не надо! Не надо!

Ни Гришка, ни Даниил не отличались храбростью, но их разум затмили отчаянье и ненависть, и они медленно сходились, Анастасиус, выставив нож, а Гришка, поскрипывая зубами. Линда вскочила со стула и кинулась между ними, но опоздала: Гришка вырвал нож из руки Анастасиуса, замахнулся и не мог остановить руку – нож ударился в серебряную брошь на груди женщины и, соскользнув с неё, глубоко погрузился в тело.

Гришка удержал нож в руке и оторопело глядел, как с лезвия сочатся и падают, разбиваясь на мельчайшие брызги, крупные капли крови. Белый как снег Анастасиус пятился к двери, и Гришка

бросился за ним следом, шибанув плечом Марию так, что она отлетела к стене коридора. Анастасиус решил искать спасение в супружеской спальне, закрыв за собой дверь на защелку, он кинулся к сундуку с постельным бельём, лёг в него и стал закрывать над собой крышку, когда под крепкими ударами Котошихина дверь распахнулась, и он вбежал в спальню и сразу кинулся к сундуку, где Анастасиус пытался совладать с крышкой. Гришка вырвал её из судорожно скрюченных пальцев хозяина, раскрыл настесь и, рыча, стал бить Анастасиуса ножом, пока не промахнулся и так ударил рукой по краю сундука, что нож отлетел в сторону и загремел под кроватью.

Хрипло дыша, Котошихин опустился на пол, пошарил рукой, поднял её к лицу, она была обильно смочена кровью. Из сундука доносилось повизгивание, которое издавал смертельно раненный Анастасиус. Ощущая в голове дребезжание, Гришка поднялся на ноги, заглянул в сундук и с содроганием узрел в нём кровавое месиво, время от времени испускавшее розовые пузыри. Шатаясь, Котошихин вышел в коридор и увидел, как на него идёт огромный швед со шпагой в руке. Гришка упал на колени и протянул к нему окровавленные руки. Швед вложил шпагу в ножны, схватил его за шиворот и выволок через сени и крыльцо к раскрытым воротам, где толкнул к другому шведу, ловко спеленавшему Котошихина крепкой верёвкой. Это были ночные стражники, совершавшие свой первый объезд южного предместья столицы и поспешившие на зов о помощи, раздавшийся из дома Анастасиуса. Они привязали верёвку к седлу, и Котошихина повлекли по вечерним улицам Стокгольма к тюремному замку.

- 7 -

Тюремный служитель втолкнул Котошихина в камеру, заскрежетали ржавые пружины дверного замка, и Гришка оказался в непроницаемой и вязкой темноте, которая навалилась не только на сотрясаемое ознобом тело, но и на его едва живую душу. Он долго стоял, вглядываясь, вслушиваясь и внюхиваясь в темноту, и вдруг до него донеслось лёгкое, едва слышимое поскребывание, затем попискивание. Гришке показалось, что он погрузился в забытие, но сделанный им щипок в ухо убедил его в обратном. Попискивание и поскребывание приближалось, оно было уже рядом, и Котошихина объял ужас. Он сделал несколько шагов вперёд и свалился на лавку, где нащупал какие-то ремки, заматался в них с головой и не отк-

рывал глаз до тех пор, пока его не толкнул в бок тюремный служитель.

– Кушать подано! – возгласил он, указывая на стол. – Как изволили почивать, господин переводчик, после того, как искровянили до смерти почтенного отца семейства Даниила Анастасиуса?

– Значит, он мёртв? – дрожащим голосом пробормотал Котошихин. – Скажите, господин, что теперь со мной будет?

– Пока ничего, – служитель поставил перед ним миску с овсянкой. – Впрочем, спроси господина советника, к которому я тебя провожу, когда ты съешь свою кашу.

Гришка принялся ковырять овсянку, а тюремщик тем временем познакомил его с предметом, без которого жизнь в камере была бы затруднена – деревянной бадьёй с крышкой, служившей узнику переносным отхожим местом.

– Будешь его мыть и скоблить, когда выйдешь на прогулку, – сказал тюремщик. – Во дворе замка есть чан с водой, возле которого всё это делается.

Гришка слушал его наставления вполуха, он всю ночь провёл в обморочном состоянии и сейчас приводил свои мысли в порядок, стараясь вспомнить, что он натворил в доме Анастасиуса. В воспалённом воображении, как в пламени костра, минувший вечер отражался кровавыми всполохами видений, как он ударил ножом Линду и увидел на лезвии ножа первую алую вспышку крови, потом со дна распахнутого сундука всплыл окровавленный Анастасиус, и Котошихин, свалив на пол оловянную миску, упал лицом на стол и безутешно разрыдался.

Тюремщик, побряхтывая, нагнулся за миской и больно треснул ею узника по затылку.

– Все вы на один лад! – ворчливо произнёс он и, схватив Гришку за волосы, ударил его лицом о стол. – Хочешь свою чёрную душу слезами отмыть добела? Вставай, и пойдём к господину советнику.

В добропорядочном Стокгольме уголовные преступления случались нечасто, большинство камер были пусты и стояли с открытыми дверями. Служитель довёл Котошихина до следственной половины тюремного замка и передал его в руки чиновника, который завёл Гришку в обширный кабинет, где восседал за огромным столом королевский следователь по уголовным делам.

Советник юстиции Роге всем своим видом излучал добродушие и приветливость, когда расспрашивал Котошихина, откуда тот родом, как попал на шведскую службу, давно ли проживает в Стокгольме. Гришка обрадовался, что следователь

оказался таким участливым человеком, и стал надеяться на сочувствие, но советник Роге указал на медного болвана, изображавшего весёлого мужика в шляпе с пучком розг в руке, который стоял перед ним на столе, и строго вымолвил:

– Это медный Матте. Сей господин своим присутствием напоминает, что ни одно преступление в королевстве не останется безнаказанным.

– Что же со мной будет, господин советник? – в Гришке проснулся животный страх: он упал на колени и бухнулся лбом в пол.

Советник живости Котошихина крепко удивился и, привстав со стула, велел ему подняться на ноги.

– Я запрещаю тебе под страхом наказания розгами, – сказал господин Роге, – своими подлыми московитскими ужимками мешать отправлению шведского правосудия!

И в знак того, что он настроен решительно, следователь положил руку на медного Матте.

Гришка поднялся с пола и, наполнив свой голос искренними слезами раскаянья, промолвил:

– Какой кары мне следует ждать за моё нечаянное злодейство?

– Разве оно было нечаянным? – удивлённо сказал советник. – Домочадцы Анастасиуса в один голос твердят, что ты уже не раз грозил потерпевшему. Ты совершил преступление умышленно, и это отягощает твою вину. Теперь ты должен молить своего московитского бога, чтобы Анастасиус выжил. Если он умрёт, то ты будешь казнён.

– Стало быть, он может и выздороветь, – почти обрадованно произнёс Гришка. – Я не хотел, господин советник, причинить ему зла, но так уж вышло.

– Мой стол не место для раскаянья, – сказал господин Роге. – Тебе нужен священник, и, на твоё счастье, он в Стокгольме есть. Вчера меня посетил русский посланник Леонтьев в сопровождении монаха. Москва требует твоей выдачи на свою расправу. У тебя есть желание отправиться к царю?

– На Москве меня ждёт неизбежная казнь, – побледнел Котошихин. – И я верю в шведское правосудие.

– Твоё преступление избавило тебя от возможной выдачи царю, – сказал советник. – Ты совершил его на шведской земле и будешь судим здесь по законам королевства. Но с тобой желает встретиться монах, и я не могу ему запретить этого. Всё зависит от твоего решения.

– Не хочу видеть ни чёрных, ни белых, ни пёстрых монахов! – охваченный невесть откуда свалившимся на него ужасом, взвизгнул Гришка. –

Заприте меня, господин советник, покрепче и держите там до суда.

– Ты поступаешь умно, – одобрительно сказал Роге. – Отдавшись шведскому правосудию, ты можешь быть уверен в его справедливости и беспристрастности. Возможно, тебя казнят, если Анастасиус умрёт, но ты находишься не в московском застенке, а в королевском тюремном замке, и здесь до тебя никто не коснётся даже мизинцем.

Вернувшись в камеру, Котошихин оглядел её взглядом человека, который избавился от большой беды, чем та, что осталась нависать над его головой. За каменным порогом он ступил на полосу яркого солнечного света, который падал из окна на пол и кирпичную стену, возле которой стояла лавка. Гришка сел на неё, сгрёб в кучу ремки и опрокинулся на них вверх лицом, испустив тяжкий и продолжительный вздох.

– Хватит стонать, – сказал служитель. – Тебе сейчас в самый раз просить Бога, чтобы он тебя не забыл. Видишь дыру в потолке?

– Вижу, а что?

– Ты не первый в этой камере, чью душу надеется перехватить чёрт, когда она начнёт освобождаться от тела.

– Ты хочешь сказать, что в дыре схоронился чёрт?

– Он там, – с торжественной убеждённостью в голосе вымолвил тюремный служитель. – И многие бывшие здесь до тебя сидельцы его видели. И сразу начинали просить, чтобы к ним пришёл пастор.

– Мне он не нужен, – мрачно произнёс Гришка. – Я был православным и другой веры не знаю.

– Тогда ожидай своей участи, – сказал служитель. – Вот скончается бедный Анастасиус, тогда спохватишься, как спасти свою душу.

В Стокгольме стояло бабье лето, через щелку в окне в камеру проникали запахи опадающей листвы; стояли тихие солнечные дни, и один раз до Гришки донеслось едва различимое щемящее душу курлыканье пролётных журавлей. Он вскочил с лавки, на которой целыми днями пролеживал до онемения бока, и, схватив стул, подставил его к окну, взобрался на самый верх деревянной спинки, подтянулся, уцепившись за железную решётку руками, к запылённому стеклу, но не увидел небо, ему лишь открылась верхушка осины, на которой подрагивали несколько красных листьев. Этот цвет смутил Гришку напоминанием о том, что случилось с ним несколько дней назад, и он стал ходить из угла в угол, чтобы утомить себя и забыться недолгим сном, а проснувшись, тупо смотреть

в кирпичную стену, считая на ней ряды кирпичей, пока не наступит вечер и не раздастся крысиное попискивание и шуршание лапок по каменному полу. К присутствию тварей Гришка притерпелся, они кружили свои хороводы в темноте, а он, заматавшись с головой в ремки, погружался в сонный бред, который уводил его сознание в сторону от того, что с ним произошло и что неизбежно случится. Беспамятство помогало Гришке коротать время, он выходил из него, чтобы освободить миску от тюремной еды и вынести бадью во двор, и снова навлекал на себя бесчувственное тупосердие, однако от беды не схоронишься, и как-то среди белого дня тюремный служитель выпростал Гришку из ремков и совлёк с лавки ногами на пол.

– Извольте, господин Баркгузен, лицезреть своего приятеля, – сказал тюремщик. – Я буду рядом, а то как бы москвитом после вашей новости не овладела злоба.

Баркгузен дождался, пока служитель не вышел из камеры, и взглянул на Котошихина, который, пожалуй, за две недели ничуть не изменился и лишь слегка опух от спанья и безделья.

– До сего дня меня к тебе не пускали, – сказал Олаф, жалостливо разглядывая Гришку, который к встрече с приятелем отнёсся без волнения, сел на лавку и смотрел мимо гостя в кирпичную стену. – Я пришёл тебе сказать, что Анастасиус до следующего утра не доживёт.

– Откуда ты знаешь? – встрепенулся Гришка. – Ты ведь не лекарь.

– Я разговаривал с господином Рудберком, когда тот осмотрел Даниила. Доктор сказал, что его часы сочтены.

– Стало быть, меня неизбежно казнят! – Котошихин соскочил с лавки и забегал по камере, размахивая руками. – Что делать, Олаф, как спастись? Куда же глядит царский посланник Леонтьев, почему он позабыл требовать моей выдачи великому государю. На Москве я бы точно спасся, она продажна, а тут собрались на мою голову праведные тюремщики и палачи! Что медлит Леонтьев?..

– Никто тебя ему не выдаст, Григорий, – как можно мягче произнёс Баркгузен. Единственное, что я могу для тебя сделать, это помочь подготовиться к неизбежному.

Котошихин поднял на Олафа наслезанный взгляд и покачал головой:

– Спасибо, Олаф. Но тому, кто уже мёртв, не можешь, – Гришка задумался. – Я уже не страшусь смерти, но что со мной будет после неё?

– Как что? – удивился Баркгузен. – Похоронят на краю кладбища для некрещёных младенцев, где

была могила Декартуса. Не такое уж плохое место. А я сорок дней буду поминать тебя в своих ежедневных молитвах.

– Благодарю, добрый Олаф, – вздохнул Котошихин. – Но я свою душу так погубил предательством, что ей уже не спастись. Только Бог ведает, какие муки ей предстоит вынести. Но мне определено мучиться после смерти не только душой, но и телом!

– Что ты имеешь в виду? – удивился Баркгузен. – Казнь отсечением головы почитается за самую лёгкую смерть, потому она и существует в нашем королевстве.

– Так судит тот, кому она не грозила, – Гришка поднял на Олафа взгляд, в котором подрагивали невыплаканные слёзы. – Против неё я не спорю, мою душу подхватит чёрт, и тут я тоже ничего не смогу поделать, но за что будут терзать после смерти моё тело? Во что я облачусь в грядущее Воскресение, которое не обойдёт даже такого, как я?

– Я же сказал, что тебя похоронят на том кладбище, где находилось тело Декартуса.

– Ты, Олаф, хотя и швед, а порядков в королевстве не знаешь, – обречённо промолвил Котошихин. – С моим телом сделают то, что разрешает закон об останках преступников. Ты о нём хоть слышал?

– Нет, я же переводчик, – пожал плечами Баркгузен.

– А меня о нём просветил несколько лет назад Кузьма Афанасьевич Овчинников, – сказал Котошихин. – Теперь слушай, что с моим телом сделают, когда моя голова упадёт в корзину. Зеваки отвернутся и пойдут по своим делам, останутся двое служителей, которые подождут, пока из меня сойдёт кровь, и погрузят тело и голову на телегу, и доставят их в Упсалу на медицинскую часть университета. Мои останки занесут в большую каменную избу, где один служитель начнёт разжигать большой очаг и наливать в котёл воду, а другой станет ножом расчленять моё тело, отделяя от него части по сочленениям: руки, ноги, опустошённое от кишок и внутренних органов тулово – всё это служители побросают в кипящий котел, последней кинут туда голову, и они будут вариться до утра, пока мясо не отойдёт от костей...

– Хватит, Григорий! Мне нехорошо, – замал руками Баркгузен. – Может, всего этого не случится.

– Нет, ты уж дотерпи, – сорвавшимся до шёпота голосом произнёс Котошихин. – Узнай до конца, что будет со мной... Кости мои вынут из варёва, вымоют, высушат и соберут проволочными

кольцами в скелет, по которому студенты Упсальского университета станут изучать устройство человека на протяжении нескольких десятков лет, пока кости не начнут ветшать и распадаться на костную пыль.

– Советник Роге позволил мне принести для тебя подарок, – к месту вспомнил Баркгузен, водружая на стол корзину, из которой высовывалось горлышко бутылки, а от свёртков исходили самые заманчивые запахи. Олаф, чтобы отвлечь Гришку от дурных мыслей, засуетился, выкладывая припасы, и скоро наполнил принесённые с собой чарки.

– Выпей, Григорий... И не горюй: ещё неизвестно, что ждёт каждого из нас в будущей жизни. Я недавно обрёл слова апостола Павла: «Весь человек есть ложь». Стало быть, люди все равны во лжи, и отличает их друг от друга лишь то, что они успели сделать при жизни. Конечно, это добрые дела, и за тобой есть книга о Московии. Люди тебя не забудут до тех пор, пока будет стоять Москва.

– Какая это, Олаф, малость перед тем, через что мне суждено пройти уже в ближайшие дни, – опрокинув одну за другой две чарки, сказал Котошихин. – К моему несчастью, я не дурак, чтобы утешиться книгой. А вот за вино хвалю, в нём, брат, поболее истины заключено, чем во всех святых писаниях. Жаль, что мне не дадут умереть хмельным, или поднесут чарку?

– Этого я не знаю, – с сожалением вымолвил Баркгузен. – А ты на меня не поглядывай, пей и ешь, а я всё своё время высижу, меня ждёт советник Хольм с переводом ответов русского посланника на королевские претензии к москвитам.

Баркгузен не обманул Котошихина: ночью Даниил Анастасиус от многочисленных ран, нанесённых ему обласканным королем, но взбесившимся москвитом, тихо скончался. Утром об этом стало известно королевскому судье, который на следующий день назначил заседание уголовной палаты по обвинению в убийстве шведского гражданина Анастасиуса неким Котошихиным. Суд был недолгим, а приговор справедливым: казнить преступника отсечением головы в обычном для этого месте, близ кладбища для некрещёных младенцев на южной окраине Стокгольма.

Приговор Котошихин встретил спокойно, тюремщики не усилили строгость содержания узника и на другой день допустили к нему Баркгузена, который явился к Гришке не только с корзиной, полной выпивки и закуски, но и в сопровождении тихого белокурого господина в чёрной одежде, на

которой ясно выделялся белый воротничок, известивший о том, что незваный гость является пастором лютеранской церкви.

– Я рад, Олаф, что ты не забыл прийти на нашу с тобой последнюю встречу, – криво усмехнулся Котошихин. – После приговора я вдруг ощутил, что стал находиться в новом для себя положении.

– Как ты это понял? – спросил Баркгузен.

– Когда я споткнулся на пороге судейской комнаты, то советник Роге успел поддержать меня под руку, как титулованную особу, и отряхнул измазанный мелом рукав моей куртки. Вот и ты оказываешь мне ещё непонятную честь: привёл лютеранского попа.

– Прошлый раз, Григорий, ты горевал о своей посмертной участи, вот я и подумал о священнике. Впрочем, если ты против, он уйдёт.

Котошихин изучающе посмотрел на пастора: тот гляделся невидно и своей статью был несравним с соборным протопопом, у которого Гришка был последний раз на исповеди этак лет пять-шесть назад. При белизне волос и лица пастор имел красные глаза, был безбород и безус, стоял, опустив очи долу, и в сомкнутых перед собой руках держал потёртый молитвенник.

– Пусть остаётся, – тихо вымолвил Котошихин.

– Ты, Олаф, угадал моё желание перейти из православия в лютеранство, если сие возможно и незатруднительно.

– Наша религия своей простотой не идёт ни в какое сравнение с православием, и её обряды у всех на виду и доступны каждому, – мягко возгласил пастор. – Но мне важно знать, имеет ли новообращённый достаточно твёрдой решимости исповедовать веру во Христа по лютеранскому обряду?

Приход Баркгузена и пастора был для Котошихина весьма кстати, ибо отвлек его от страшного смысла только что прозвучавшего приговора Королевского суда, коим он был по сути дела объявлен мёртвым человеком, и теперь от настоящей смерти Гришку отделяли всего несколько формальностей, самой зловещей и заключительной из которых должна была стать казнь. Поэтому он проявил к пастору повышенное внимание, и Баркгузен это заметил и стал отступать к двери, чтобы избежать долгого и слёзного прощания. Котошихин услышал шорох и, не оборачиваясь, сказал:

– Ты уходишь?.. Тогда прощай, Олаф! Скоро ты мне станешь по-настоящему братом в лютеранстве.

– Прощай, Григорий! – с болью в голосе произнёс искренне любивший москвитина Баркгузен.

Некоторое время Котошихин и пастор поглядывали друг на друга, не решаясь приступить к столь важному и сокровенному разговору. Гришка оказался менее сдержанным, он находился в состоянии глубокой нервной встряски и решил не стесняться священника: вынул из корзины выпивку, закуски и наполнил чарки рейнским вином.

Пастор покосился на пододвинутую к нему чарку и, сдержанно кашлянув, тихо произнёс:

– Согласитесь, господин Котошихин, что вино здесь излишне и может помешать решению, которое вы намереваетесь принять.

– Русскому человеку чарка никогда не повредит, – не согласился с ним Котошихин. – Особенно в моём теперешнем положении. А я должен объявить сейчас такое, о чём вы ещё никогда не слышали от христианина.

Пастор заинтересованно уставился на москочита, а Гришка хладнокровно опорожнил чарку и осушил бороду ладошкой.

– Я так понимаю, что мне ещё предстоит исповедаться, когда буду зачислен в лютеранство, – сказал Котошихин. – Но ещё до этого я должен объявить вам, господин пастор, что у меня нет души.

– Как это нет души? – беспокоенно посмотрел на Гришку священник. – Она у каждого человека есть.

– В любом случае, с некоторых пор я не ощущаю в себе её присутствия, она не даёт о себе знать даже малейшими проявлениями. Вот и думаю, что внутри у меня пустота.

– Когда же эта беда с вами случилась? – пастор весь обратился во внимание. – Есть, наверно, и причина, отчего всё началось?

– Думаю, что это от моего предательства, – мрачно вымолвил Котошихин. – Я преступил свою подьяческую присягу и выдал за деньги тайну великого государя шведскому послу. Я клялся на святом кресте и Евангелии и преступил клятву. Тогда-то душа меня и покинула.

Пастору ещё не приходилось выслушивать подобного признания, он смутился, но покрепче сжал в руках молитвенник и вскоре обрёл потерянную было уверенность.

– Измена, пусть даже в пользу шведского короля, есть великий грех, – нравоучительно произнёс он. – От великого греха случилось и великое повреждение душе. Но она сейчас находится там, где ей и следует находиться, и ты её чувствуешь своим раскаянием.

– Нет у меня раскаянья, господин пастор, – уныло сказал Котошихин. – Я после своей измены стал другим человеком: думаю и вспоминаю о

прежних днях, как будто это не я родился в Москве, служил в Посольском приказе, сошёлся с послом Эберсом. Таким, какой есть сейчас, я стал, когда передал шведскому послу отписку наказа царя послу Волынскому.

– Столь горячая обеспокоенность о своей душе внушает мне надежду, что вы не только по здравому размышлению решаетесь принять истинную веру, но и по зову самой души, – заключил пастор. – Вот вам и верное доказательство, что душа ваша не испарилась, а возжаждала обрести подлинную веру.

Однако Котошихина, не меньше чем душа, беспокоила будущность своего тела, и он, помявшись, задал свой главный вопрос:

– Мне известно, что в Швеции закон суров не только к приговорённому, но и к тому, что после него останется. Принимая лютеранство, я хочу иметь уверенность, что не буду стоять скелетом в университете.

Столь неожиданной просьбы пастор не ожидал услышать, но он ничем не обнаружил своего удивления.

– Мы скоро продолжим нашу беседу, а пока мне нужно предупредить господина Хольма о вашем решении обрести лютеранскую веру. На это понадобится несколько дней, и казнь должна быть отсрочена.

Советник Хольм сидел в своём кабинете над только что оглашённым приговором Котошихину и придирчиво его вычитывал, отыскивая, не вкралась ли в решение суда какая-нибудь погрешность.

– Как там наш москочит? – сказал он. – Последний наш клиент, душитель Бильт, потребовал, чтобы его накормили похлёбкой из бычьих хвостов. Что пожелал иметь на столе москочит?

– Котошихин решил принять лютеранство, – тихо сообщил пастор. – Посему казнь надо отсрочить.

– Что ещё удумал сей неугомонный москочит? – настороженно спросил Хольм.

– К сожалению, ему известен закон об останках казнённых преступников, и он желает быть погребённым в земле.

– Вот незадача, – вздохнул Хольм. – Я не против, чтобы останки москочита зарыли на краю кладбища для некрещёных младенцев, но на них нацелился доктор Рудберк. А он уже третий год мне надоедает с одним и тем же: когда будет казнённый труп? Но где я его возьму, если в эти три года в королевстве не случилось ни одного преступления, которое каралось бы смертью. Сейчас Рудберк ждёт пополнения для упсальского анато-

мического театра, но для Королевского суда мнение церкви станет решающим. Итак, ваше слово, господин пастор.

– Я должен сообщить о желании московита епископу, поскольку нахожусь в большом сомнении. Котошихин заявил, что с некоторых пор он не имеет души. Конечно, это его выдумки. Я знаю, что у шведов, датчан, даже у финнов, такого быть не может, чтобы у человека взяла и сама собой потерялась душа. Однако мы имеем дело с московитом, а о них у всей учёной Европы бытует мнение, что они не совсем такие люди, как мы, а их хвалёное православие суть византийское словоблудие и потёмки.

– Вопрос о загадочной русской душе находится вне компетенции Королевского суда, – сказал советник Хольм. – Казнь Котошихина будет отсрочена на две недели. Надеюсь, за это время вы сумеете отыскать у московита душу или окончательно удостовериться в её отсутствии.

...В первых числах ноября 1667 года лютеранин Григорий Карпович Котошихин при небольшом стечении публики, среди которой выделялся своим радостным оживлением доктор Рудберк, был обезглавлен. С его телом поступили согласно шведскому закону об останках преступников, и более тридцати лет Котошихин своим скелетом утолял жажду знаний студентов медицинского отделения Упсальского университета.

От безвестности Котошихина спас Олаф Баркгузен, который не забыл своего обещания и пе-

ревёл его книгу на шведский язык, и её прочитали с немалой пользой для себя государственные мужи Шведского королевства. Затем книга была сдана в Королевский архив и пролежала там до 1838 года, пока её не обнаружил профессор Гельсингфорсского университета Сергей Васильевич Соловьев, однофамилец известного русского историка.

Первое издание труда Котошихина вышло в России в 1841 году под названием «О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григория Котошихина». Затем последовали ещё несколько переизданий, но при советской власти книга не издавалась, хотя труд Котошихина является настольной книгой для русских и зарубежных историков, изучающих Россию XVII века.

□

Николай Алексеевич ПОЛОТНЯНКО

родился в 1943 году в Алтайском крае.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.

Прозаик, поэт, публицист.

Автор романов, в том числе трилогии («Государев наместник», «Атаман всея гулевой Руси», «Клад Емельяна Пугачева», под псевд. Николай Суздаев, ЭКСМО, (2007–2009), а также поэтических книг: «Братина» (1977), «Просёлок» (1982), «Круги земные» (1989), «Журавлиный оклик» (2008), «Русское зарево» (2011), «Бунт совести» (2015), «Судьба России» (2016) и др.

Основатель журнала «Литературный Ульяновск» и главный редактор (2006–2018).

Награждён литературной премией имени И.А. Гончарова (2008), Почётной медалью имени Н.М. Карамзина (2011), орденом Достоевского 1-й степени (Пермский край, 2014) и др.

